Е66/546

Я. НОВОМИРСКИЙ

П. Л. ЛАВРОВ

НА ПУТИ К АНАРХИЗМУ

«К О Л О С»
ПЕТЕРБУРГ
1922

E66—
546

Е66 546
1-й эта сс. фонда
335
Новомирский, Я.

П. Л. Лавров на пути к анархизму.

Предисловие.

Задача настоящего очерка ознакомить со взглядами П. Л. Лаврова на государство.

Вопрос этот живо интересовал Лаврова, и он несколько раз возвращался к нему. К сожалению, размеры настоящей статьи не позволили использовать все имеющиеся в нашем распоряжении материалы. Я ограничился главнейшею работою Лаврова, озаглавленной „Государственный элемент в будущем обществе“ и вышедшей в 1876 году. В этой книге он, в сущности, резюмирует все свои основные взгляды на происхождение и природу государственной власти.

Со времени появления этой книги прошло два человеческих поколения, а она до сих пор не потеряла большого интереса. Есть в ней страницы, звучащие теперь, в апогее советского опыта, довольно наивно: социальная революция, совершив свой естественный круг, показала уже нам свой другой лик,—не поэтический, а звериный. Но временами не хочется верить, что книга написана 45 лет тому назад, а не списана с русской современности, преломленной в глубокой душе об'ективного философа-революционера. А в общем и целом приходится признать, что тактика соврменного большевизма построена на принципах, развитых Лавровым.

Однако, Лаврова нельзя, конечно, назвать большевиком. Ни в исходном пункте, ни в цели лавризм ничего общего не имеет с большевизмом. Исходит Лавров из своеобразной теории личности, во многом сближающей его с анархизмом школы Кропоткина. Даже конечную цель социализма Лавров понимает в духе безгосударственного коммунизма. Но было бы поспешно зачислить его и в анархисты: Лавров предвидит, подобно нашим большевикам, довольно долгий период переходного времени, когда власть не может быть устранена, и когда необходима суровая диктатура революционно-социалистической партии. Правда, он делает ряд оговорок, но эти оговорки не затрагивают ни одного существенного пункта политики большевизма.

Не навязывая Лаврову никаких ярлыков, мне казалось крайне интересным сопоставить его теоретические воззрения на государство со взглядами анархизма и практикой большевизма. Об'ективный читатель должен сам решить, какое политическое течение имеет теперь большее право гордиться П. Л. Лавровым.

с-ф 5240
БИБЛИОТЕКА
ИНСТИТУТ КРАСН. ПРОФЕССУРЫ
№ 80684/82

ГЛАВА I.

О сущности государства.

«Общество во всякой форме есть благо, а правительство, даже самое лучшее,—лишь необходимое зло; плохое правительство—зло невыносимое».

Томас Пэн.

1.

Социализм борется за новое общество. Но каково оно будет, насколько оно будет похоже на мир, с которым он борется? Будет ли социалистическое общество государством или совершенно иной формой общежития? И что, собственно, значит „государство": может быть, социализм отрицает только современное государство, но не его принцип?

От этих вопросов зависит не только ясность идеи, но и выбор пути к ней. В области социологии вопросы теории имеют громадное практическое значение. Разногласия, которых не разрешили дискуссии, потом разрешают винтовки и пулеметы. Ученики Прудона, из ненависти к коммунизму, шли вместе с версальцами на Париж [1]). Народники и марксисты, которые десятки лет сражались на страницах толстых журналов, теперь, во время революции, встречаются с винтовками в руках.

Вот почему Лавров совершенно прав, придавая особое значение вопросу о роли государственного элемента. Но вряд ли он прав, думая, что путаница, царящая в этом вопросе, зависит только от смещения понятий [2]). Либерализм и социализм воюют друг с другом, конечно, не только из-за точных определений. Скорее наоборот: они потому только в теории не могут придти к об'ективным определениям спорных понятий, что они воюют на практике, в жизни. Последняя основа непримиримых разногласий всегда социального происхождения.

Что государство насильничает, что оно эксплоатирует и разрушает, конечно, видят и государственники не хуже их противников. Не только теоретики либерализма, но и сами отцы научного социализма при случае не жалели свирепых тирад против госу-

[1]) Стр. 13. Здесь, как и в дальнейшем, ссылка на книгу Лаврова «Госуд. Элемент в буд. общ.», см. Собр. сочин. Статьи социально-политические, вып. VII. изд. «Колос». Курсив в цитатах везде принадлежит Лаврову.

[2]) Стр. 6.

дарства. Но почему же это не мешает ни либералам, ни большевикам одинаково душить анархистов и одинаково на них клеветать? Почему большевики, шедшие до октября рука об руку с анархистами, вписавшие в Конституцию отрицание государства, укрепившись, направили свое оружие *раньше всего* против анархистов? Потому, что государство не только круг определенных понятий, но и круг определенных интересов. Убеждать государственника отказаться от своего „заблуждения" так же разумно, как убеждать буржуазию отказаться от монополии богатства. Социалистическое государство есть величайший на земле собственник и величайший на земле эксплоататор.

Разногласия, на почве которых раскололся в наше время социализм и ведет гражданскую войну, возникли очень давно, возникли вместе с социализмом. Когда Лавров писал свою книгу, уже четко отмежевались три течения вокруг вопроса о государстве. Одно стояло за современное, историческое, „национальное" государство: к нему принадлежали лассальянцы. Другое, вождем которого был Маркс, брало исходным пунктом—международное государство. И, наконец, третье течение, со времени Прудона и Бакунина, отвергало совершенно государство [1]).

Такова линия идеологического раздела и теперь. Она только стала четче, ибо по ней текут уже не чернила, а человеческая кровь. С одной стороны социалисты (т. е. меньшевики и правые эсеры); с другой—коммунисты, т. е. большевики; против тех и других—анархисты. Их примирение, конечно, теперь еще менее возможно, чем во время Лаврова.

2.

Русская революция сыграла крупнейшую роль в обнажении вопроса о роли государства. Для Лаврова проблема еще сводилась к определению *количества* государственного элемента, которое войдет в будущее общество. Чтобы придти к отрицанию или частичному признанию государства, он с подкупающей об'ективностью анализирует одну за другою все вообразимые функции государственной власти. В его время практика жизни еще не ставила вопроса принципиально, и философу приходилось идти путем интегрирования бесконечно малых.

Иное дело теперь. Как только власть перешла в руки коммунистов, старая постановка вопроса сразу устарела. Стало совершенно очевидно, что дело вовсе не в количестве власти и не в качестве, а во власти. Теперь смешно спрашивать: нужна ли в хозяйстве власть? История уже поставила вопрос иначе: кто хозяин

[1]) Стр. 9—14.

в обществе—государственный чиновник или общественный союз? Государство или общество? Вот вопрос.

Чиновник (комиссар) уже стал хозяином жизни, государство уже поглотило общество; так в буржуазном обществе капитал поглощает труд, хозяин—рабочего. Социализм плюс государство, каково бы ни было его наименование и каковы бы ни были его суб'ективные цели, есть *государственный капитализм.* Между государством и обществом (я говорю о всечеловеческом, социалистическом обществе) невозможен ни временный союз, ни временное перемирие.

3.

Какова позиция П. Л. Лаврова?

Общество, говорит [1]) он, есть „понятие родовое", а „государство—одна из форм общества". „Цель общежития всегда: создать прочное единство личностей для согласной деятельности, для общей цели".

Как же обеспечить обществу необходимую прочность, без которой, конечно, невозможна „согласная деятельность"? „Для добросовестного мыслителя, отвечает Лавров [2]), ясно, что лишь *нравственное* единство личностей может дать союз *прочный,* потому что лишь в нравственном единстве есть ручательство *согласия* деятельности личностей и *общности* их целей". Только в обществе, основанном на нравственном единстве, может „осуществляться назначение человека, т. е. его достоинство, как человека, его *человечность*".

Это правда. Но когда же единство можно и должно считать нравственным? Конечно, тогда, когда оно естественно и свободно, когда оно воспринимается личностью так же легко, как свет, воздух или тепло. Такое единство возможно лишь там, где общество основано на ясно сознанном единстве интересов. Инстинкт, а где он молчит, договор,—вот единственные факторы нравственного общежития.

Лавров нигде не выражает эту мысль так, как я ее выразил здесь. Но именно такова его мысль.

4.

В сущности, мы на каждом шагу встречаем общественные союзы, которым не в праве отказать в нравственной основе, пока они совершенно свободны. Но бывает момент, когда союз приходит к необходимости отказаться от внутренней свободы, ибо эта свобода

[1]) Стр. 21, 22.
[2]) Стр. 21.

больше не обеспечивает солидарности действий и угрожает самому существованию союза. В союз вводится новый элемент—власть, которой дается [1]) „возможность *заставить* всякого члена союза идти к цели, которую власть указывает как *обязательную* цель для всех членов союза". С этого момента *нравственный* союз стал *политическим*.

В политическом союзе личность уже не свободна, она закрепощена. Но пока власть еще в руках всего союза, мы только на пороге государства. Но [2]), „когда законодательство переходит из рук всего политического общества в руки одной доли его; когда одна группа лиц может сделать свою волю обязательной для другой; когда личность закрепощается обществу независимо от своего согласия", тогда „мы имеем перед собою *государство*".

В этой схеме развития общества в государство Лавров оставил нам замечательную попытку освещения одного из самых основных и запутанных вопросов социологии и политики. Марксизм не только не сумел его разрешить, но даже не понял его. Он постоянно смешивает государство и правительство. Лишенный прочного критерия государственности, марксизм подходит к вопросу о происхождении и разрешении государства беспомощно и угловато, говоря то о „сращивании", то о „самоупразднении".

Революционный синдикализм делает шаг вперед, вводя понятия „groupement d'affinité" и „groupement d'intérêts" и пытается (совершенно правильно!) доказать, что естественной базой является союз, основанный на единстве интересов, а не убеждений. Учение Лаврова бросает свет на общее происхождение обоих форм человеческих об'единений и их неизбежную эволюцию. Какова бы ни была первоначальная природа нравственного союза—убеждение или интерес,—если союз перестал быть свободным, если он установил внутри себя власть, он стал политическим, он на пути к государству. Революционный синдикат, с научной точки зрения, есть такой же политический союз, как и любая политическая партия. А профессиональный союз, в котором членство обязательно, и правящая бюрократия почти несменяема, есть, в сущности, маленькое государство.

Яркий пример развития нравственного союза в государство дает нам история большевизма. Тайный подпольный кружок верующих (типичный случай groupement d'affinité) превратился после Февральской революции в большую политическую партию, которая, овладев властью, стала государством. Незаметная клеточка на теле общества разрослась в целую ткань, а потом, как плесень, облепила все общество.

[1]) Стр. 22.
[2]) Стр. 24.

5.

Мне кажется, что мы теперь вправе сделать несколько выводов. Человеческое общество, в основе которого лежит труд, т. е. борьба за жизнь, не только нравственно, но, по мнению Лаврова, служит источником и мерилом всякой нравственности. Государство, природа и смысл которого—организованное, безусловное и постоянное насилие, не только само безнравственно, но является хранителем, освятителем и распространителем безнравственности. Но вне нравственности нет человечности, ибо только в нравственности человек ощущает свое „я", подчиняя ему добровольно свои поступки; значит, государство, по существу, бесчеловечно. Язык государства не язык человека, а язык зверей и стихий,—язык силы, а не духа.

ГЛАВА II.

Современное государство и социализм.

1.

С высоты определений, более или менее суб'ективных и произвольных, перейдем на беспорную почву фактов: таков постоянный метод Лаврова.

Раз государство—лишь частная форма общества (я предпочел бы сказать: орган общества), то происхождение государства надо искать в недрах общества.

Общество—союз борьбы за существование. Какую же роль играет в этой борьбе государство? Иными словами: какую потребность удовлетворяет или должно удовлетворять государство?

„Одна из основных человеческих потребностей,—говорит Лавров [1]),—самым неразрывным образом связанная с самыми элементарными формами общественного союза и постоянно присущая обществам во всех формах их развития, есть потребность *безопасности*. Она *должна* быть удовлетворена так или иначе для того, чтобы существовала возможность членам общества подумать об удовлетворении других, менее настойчивых потребностей. Для ее удовлетворения общества слишком часто жертвовали и материальными удобствами, и возможностью прогрессивного развития".

„Борьба за существование для каждой особи против *всех* своих соперников становилась легче, когда эта особь отказывалась от этой борьбы *внутри* группы, чтобы вся эта группа могла успешнее бороться с врагами, *вне* ее находящимися [2]). *Солидарное обще-*

[1]) Стр. 29—30.
[2]) Ср. Кропоткин: «Взаимопомощь».

житие было могучим оружием в борьбе за существование, могучим охранением *безопасности* личности, вступившей в группу".

Отсюда—могучая сила обычая, ибо его назначение—сделать наше завтра похожим на сегодня, обезопасить себя от всех неожиданностей.

„Обычай [1]), поясняет Лавров, был единственным связующим элементом общества, когда мысль была слаба, а эгоистические инстинкты были сильны. Обычай, удовлетворявший наиболее потребности безопасности, доставлял преимущество обществу в борьбе за существование. Патриарх и раб, предводитель дружины хищников и общественная жена одинаково подчинялись беспрекословно обычаю *почти* во всех случаях жизни, и это сообщало общественной жизни ненарушимое единообразие. Это было начало общественного застоя в то же время, как начало общественной прочности".

Но „внутри [2]) обществ, руководимых обычаем или религиозным верованием, происходили *постоянно* столкновения личностей, и эти столкновения требовали разрешения. Конечно, они должны были быть разрешены по обычаю и по требованиям религии. Но жизнь слишком разнообразна, чтобы в ней все можно было предвидеть; к тому же, личные аффекты постоянно толкают личность на нарушение установленного порядка вещей. Для безопасности личностей необходимо было истолковывать обычай в приложении к данному спорному вопросу; приходилось преследовать страстных нарушителей обычая, нарушителей божественного закона".

Здесь зарождаются „суд и расправа".

„Юридическая функция, ограждающая личности от опасностей, беспрестанно возникающих для них внутри общества, была одним из важных источников развития *государственной власти* в обществах и осталась нераздельным условием государственности до нашего времени".

Росту государственного элемента содействовали, по мнению Лаврова [3]), другие многочисленные факторы: почти постоянные столкновения между охотничьими племенами, развитие техники вообще и военной в особенности, давшее огромную силу правящим, переход от охоты к скотоводству и земледелию, ставший необходимым, но связанный с колоссальной ломкой всей жизни, которая была бы, может быть, неисполнима без могучего воздействия организующей власти. Но самое главное влияние на усиление и оформление государственной власти сыграла борьба между племенами, особенно, между хищными и промышленными племенами.

[1]) Стр. 31.
[2]) Стр. 32—33.
[3]) Стр. 35.

„Войны [1]) чистых хищников с промышленниками большей частью кончались не в пользу последних".

„В иных случаях прямо хищнические общества не ограничились грабежом более слабых соседей, но *поработили* их и стали единственно свободными повелителями населения, лишенного всех прав, но обладавшего высшей промышленной культурой сравнительно со своими господами".

„В других случаях промышленные общества, не будучи в состоянии противостоять своим хроническим разорителям, добровольно *подчинились* их власти на более или менее тяжелых для себя условиях, образовав безоружных данников воинственного центра или промышленную касту нового политического целого".

„Еще в других случаях, при более выгодных случайностях на стороне промышленных обществ, они нашли нужным выделить из своей среды сословие, специально назначенное для обороны общества и поддержанное трудом остальных, которые, потому самому, все более теряли привычку к военному делу, находились все более в зависимости от своих защитников и, тем самым, должны были уступать им все бо́льшую и бо́льшую долю власти".

Создавались, конечно, и другие формы отношений в результате борьбы. Но главная суть в том, что [2]) „вследствие неизбежных условий борьбы за существование, во имя самой насущной потребности—безопасности целого—образовалось в обществе, во-первых, резкое различие между господствующим классом и подчиненным.....; во-вторых, это *политическое* распределение власти было самым тесным образом связано со *специализацией* занятий..... причем обязанность охранять общество от внешних или внутренних врагов *противополагалась* обязанности промышленного труда на общую пользу, и *власть*, за немногими исключениями, была нераздельно связана со *специальным занятием военным делом*".

Здесь даны нам основные положения П. Л. Лаврова о происхождении государства.

1. Жажда безопасности—основная потребность человека.

2. Ради безопасности индивиды и группки сливались в общества, для успешной борьбы с другими, более опасными противниками.

3. Из борьбы групп и племен выросло классовое общество, с резко очерченной кастой господ.

4. Каста господ, носительница военного ремесла, монопольная защитница безопасности, естественно, сосредоточила в руках своих власть над остальными классами.

---

[1]) Стр. 36.
[2]) Стр. 37.

5. Из экономической и политической власти по необходимости выросла власть юридическая: так сложилось государство.

6. Обычай, религия и поэзия освятили в глазах массы то, что когда-то само выросло из фатальной борьбы за существование.

2.

Всякий, не зараженный суеверием „экономического фактора", должен признать эту схему строго научной. Ведь, это едва ли не лучшее применение метода дарвинизма в социологии [1]). Принцип борьбы за существование, ни одной лишней гипотезы, строжайший реализм и безусловный об'ективизм—вот характерные черты теории Лаврова.

По существу, эта схема совершенно порывает с марксизмом, который хочет вывести всю эволюцию общества из развития техники. Лавров, уделяя значительное и заслуженное место технике [2]), считает основным, творящим фактором личность, конкретную, исторически данную личность, для которой технические, социальные и духовные факторы являются только средством и орудием борьбы.

Учение Лаврова освобождает нас от дикого фетишизма „орудий производства" Маркса и от странной метафизики органической теории развития. Нет в ней врожденных идей, ни ходульного культа героев. Его изложение так просто, логично и наивно, что не всякий читатель обратит внимание, что здесь дается нам одна из самых блестящих гипотез социологии, которую *после* Лаврова развивали многие социологи (напр., Гумплович), и которая почти целиком вошла в учение П. А. Кропоткина [3]). А связь этой теории Лаврова с Дюрингом, кажется, вне всякого сомнения.

3.

Что потребность безопасности играет такую важную роль вообще и главнейшую роль в образовании государственной власти, показывает история всех человеческих революций. Революция, по необходимости расшатывая старые устои общественности, вызывает на сцену силы и факторы, подавленные инерцией органической эпохи. На время человечество делает шаг назад, ко времени „войны всех против всех". Каждый день из сонных недр народа выходят на арену гражданской войны новые слои, новые группы, задетые и подброшенные бурей революции. До тех пор, пока не закипит, не вспенится все человеческое море. И тогда начинается реакция:

---

[1]) См. Le-Dantec: «L'egoïsme seule base de la société».
[2]) Стр. 34, 35, 36 и др.
[3]) P. Kropotkine: «La science moderne et l'Anarchie».

экономическое истощение повелительно требует восстановления хозяйственной жизни, *какой-нибудь* хозяйственной жизни, хотя бы той, которая всем казалась ненавистной, и которую долгожданная революция разрушила. Но хозяйственный порядок есть, раньше всего, порядок, т. е. организованная *безопасность*. Начинается процесс, обратный тому, который поднимала революция на своем шествии вперед: сходят со сцены самые ярые бойцы, мелкие группы сливаются, пестрые лозунги затихают. Тем, которые правят, не кричат больше „захватчики", им кричат: „дайте нам безопасность". Диктатура—неизбежный результат всякой революции. А разве диктатура не есть прообраз всякой государственной власти?

Идея диктатуры и государства отнюдь не навязывается массам, как думает, например, Кропоткин, полагая, что народ инстинктивно ненавидит всякое государство и инстинктивно жаждет анархии. История целиком подтверждает теорию Лаврова: государство—естественный продукт естественной и всеобщей потребности в безопасности.

Лозунг диктатуры слишком часто выходит именно из народных масс. По крайней мере, тираны и диктаторы достаточно часто выходили из рядов самых демократических слоев и партий. Сделав необходимое ему экономическое завоевание, народ ничего так страстно не хочет, как обеспечения безопасности, ради которой он легко жертвует всеми политическими ценностями и завоеваниями [1]).

Идея свободы, а также идея анархии—продукт высоко культурного сознания, т. е. продукт высших, интеллигентских слоев, которым высшая обеспеченность дает возможность освободиться от узких интересов дня и предрассудков своей среды. Моисей, вождь аристократической касты левитов, проповедывал невидимого, духовного бога, желавшего властвовать только через сознание, а народ предпочитал золотого тельца. Софисты и стоики стремились к безгосударственности и анархии, а христиане—их современники и идеологи масс—боготворили абсолютную монархию, ставя монарха рядом с богом: „Божие—Богови, кесарево—кесарю". Знамя восстания против абсолютизма подымали везде дворяне и аристократы, которых унижала власть короля, а народ, сбросив барщину, всегда приветствовал короля, считая все вольности барской затеей.

Свобода становится такой же потребностью, как безопасность, лишь тогда, когда материальная нужда перестала играть домини-

---

[1]) К длинному циклу диктаторов и императоров из демократии древнего мира и нового времени (Писистрат, Цезарь, Октавиан, Кромвель, Наполеон и др.) русская революция прибавила блестящую иллюстрацию: все слои общества готовы временно принять большевистскую диктатуру, которая всем ненавистна, только потому, что истерзанная гражданской войной страна жаждет раньше всего и больше всего—безопасности.

рующую роль, когда призрак голода больше не давит на психику. Голод—контр-революционер и „государственник", ибо он не хочет и не может ждать.

4.

Бесспорно, инстинкт безопасности играл и играет чрезвычайно великую роль. Но достаточно ли этого инстинкта для об'яснения всей эволюции общества? Лавров чувствует его недостаточность и дополняет его другим инстинктом—потребностью в благополучии. Но что, собственно, значит „благополучие"? Это—та же безопасность, только биологическая, а не социальная. В сущности, обе потребности вполне укладываются в рамки единого инстинкта—самосохранения.

Возникает вопрос: может ли этот инстинкт о'бяснить нам историю общественности? Может ли этот инстинкт, в сущности, отрицательный,—во всяком случае, консервативный,—об'яснить этот страстный, извечный и неудержимый порыв, который называется человеческой историей?

Лавров, подобно Кропоткину, совершенно недооценивает другой биологический фактор—пол, для которого Дарвин нашел более широкое место в своей системе.

Возможно ли, что в человеческом обществе пол играет меньшую роль, чем в царстве животных? Быть может, эта роль не только не меньше, но серьезней и ярче? А что, если инстинкт самосохранения только служебный орган пола?

Эти вопросы, конечно, сами по себе ничего не меняют в той схеме, которую нам дал выше Лавров. Играет ли пол ту роль, которую хотелось мне за ним признать, или нет,—но инстинкт безопасности существует без сомнения и проявляется именно так, как описал Лавров. Вопросы, поставленные выше, пытаются как бы заглянуть в тот подвал, над которым возвышается арена борьбы и побед инстинкта самосохранения.

5.

Выяснив влияние потребности в безопасности на возникновение и развитие государственного элемента, Лавров переходит к другому фактору—потребности в материальном обеспечении.

„С самого начала существования обществ, говорит Лавров[1]), потребность в экономическом обеспечении была столь же настоятельна, как потребность в безопасности. Обе искали себе одновременно удовлетворения в общественном союзе, и органы их удовле-

[1]) Стр. 41.

творения были сначала одни и те же. Люди сплачивались в дружины или в племена как для экономического обеспечения, так и для борьбы с врагами. Возникающая власть руководила распределением продуктов труда или распределением добычи точно так же, как она руководила защитой и нападением".

С ростом человеческого общества [1]) „прямая борьба между обществами становилась все труднее, а успех прямого хищничества все более сомнителен". „Ослабевала внешняя борьба обществ за существование, борьба прямого убийства, порабощения массами и грабежа; отодвигалась в минувшее и та форма потребности в безопасности, которая вызвала в прежний период образование государственного союза... Зато внутри более безопасных друг от друга обществ выступила на первый план *экономическая* борьба личностей и групп".

Это обстоятельство стало исходным пунктом перерождения государственной власти, которая из преимущественно-военной становится преимущественно-юридической.

Хотя все отношения как будто регулировались обычаем и религией, которым подчинялась даже власть, однако, „обладание [2]) властью составляет одно из лучших средств для того, чтобы обеспечить себя и близких себе от всяких опасностей, даже для того, чтобы, в случае нужды, уклониться от давления обычая и направить толкование религиозного [3]) учения в свою пользу".

С другой стороны [4]), „существеннейшая цель, к которой должна стремиться личность, поставившая других в экономическую зависимость от себя, заключается в том, чтобы государственными силами оградить за собою ту экономическую силу, которую она приобрела".

„Личности стали стремиться в его среде преимущественно к своему *отдельному* ограждению от опасностей, в весьма многих случаях на счет безопасности целого..... Потребность безопасности и потребность экономического обеспечения... стали вырабатываться в потребность обеспечения для личности *монополии*... „Личности перешли от стремления жертвовать собою общественной связи, в форме государства, ограждающего безопасность этой связи, к стремлению *эксплоатировать* государственную силу для своих личных целей. Временная потребность крепкого государственного единства, купленного дорогою ценою жертв со стороны личностей, в виду общей безопасности, обратилась в маску личных интересов, именно—в оружие для ограждения экономической силы немногих

[1]) Стр. 40, 41.
[2]) Стр. 42.
[3]) И разве только религиозного?
[4]) Стр. 42.

монополистов против всяких попыток массы отнять у них монополию“ [1]).

С развитием торговли, когда рынок становится верховным вершителем хозяйства, лик буржуазного государства еще резче меняет свои черты [2]). „Всякое государство, вовлеченное в процесс развития буржуазного общественного строя, неизбежно становится *само* общественным эксплоататором. При господстве экономических интересов и государство неизбежно выходит на рынок продавцом или покупателем..... Из роли *охранителя безопасности общества* оно перешло к роли *народного вампира*“.

„Государство, втянутое в процесс конкуренции за обогащение... есть именно „заговор“ одной доли общества против другой, заговор сильных, имеющих в виду воспользоваться своею силою для эксплоатации всего общества в свою пользу“.

К чему сводится вся мудрость буржуазных государствоведов? К двум основным положениям [3]): 1) „все есть договор, и договор священен“ и 2) „все есть чья-либо собственность, и собственность священна“. Государство превратилось „в собрание конкурпрующих торговцев, одушевленных *одною* мыслью: продать дороже, купить дешевле; имеющих *один* общий интерес: исполнение рыночных сделок; требующих от государства *одной* службы: порядка на всемирном рынке“.

Отсюда естественный вывод Лаврова [4]): современное государство „есть общественная форма, не удовлетворяющая ни одной из естественных потребностей человека, форма сама себе противоречивая; оно обречено на гибель тем самым строем, который оно поддерживает“.

6.

Картина эволюции государства нарисована Лавровым мастерски. Читая эти страницы (40—59), невольно вспоминаешь главы Маркса, посвященные истории и анализу первоначального накопления и развития капитала. Лавров для идеи государства сделал то же и почти по тому же методу, что и Маркс для идеи капитала.

Чтоб придти к полному и беспощадному отрицанию буржуазного государства, Лавров не нуждается ни в одной строчке декламации. Для него государство не чудовище, ворвавшееся в мир из неизвестной пустыни, чудовище, никому неведомое и никому, кроме самого себя, ненужное. Корни государства он ищет не в случае и не в злой воле отдельных лиц или правящего меньшинства (как думали даже такие теоретики анархии, как покойный Кропоткин):

[1]) Стр. 43.
[2]) Стр. 53, 54.
[3]) Стр. 48.
[4]) Стр. 59.

он ищет происхождения государства в реальной борьбе за реальные интересы. Приговор государству он выносит не за то, что оно ему не нравится, а за то, что оно пришло к своему собственному противоречию и перестало служить тому самому интересу, который вызвал его к существованию. Как крупный капитал, экспроприируя мелкую собственность, сгоняя крестьянина с насиженной земли и муштруя пролетария, приготовляет об'ективные условия для экспроприации экспроприаторов, так буржуазное государство, сбросив все покровы общественности и нравственности и став органом голого насилия кучки монополистов, роет насильственную могилу для насильников.

Государству предшествует общество. Догосударственный период, по мнению Лаврова, вовсе не был аркадским периодом абсолютного безвластия. Но элемент власти не отделился еще от труда. Эта власть была организующей, трудовой властью. Она не стала еще самостоятельным фактором, висящим над трудом и насилующим труд. На языке Лаврова можно сказать, что общество уже тогда не было чисто нравственным союзом, а стало союзом политическим. Чтобы стать государственной, власть должна была совершенно отделиться от общества и стать монополией.

Это сделала война, т. е. борьба между двумя обществами, из которых более воинственное, т.-е. более дикое, более отсталое и более хищное, имеет все шансы на победу. В пользу этого говорит не только логика, но и история. Первый лик государства—хищник.

Государство-хищник (гиксы—в Египте, ассирийцы—в Вавилонии, норманы—в Англии) долго живет над побежденным обществом, как совершенно чужеродное и совершенно хищное тело, единственный смысл существования которого в том, что оно защищает подневольное общество от всех остальных и худших хищников.

Но когда побежденное общество покоряется, когда старые раны, нанесенные завоеванием, понемногу залечиваются, когда нравы и обычаи обоих обществ понемногу уравниваются, состояние внутренней войны между государством и обществом смягчается: хищник становится воином.

Это—вторая фаза государства. Государство-воин есть самая распространенная и самая типичная форма государства. Этот период государства оставил нам яркие, незабываемые страницы не только варварства и жестокости, но и дивного мужества и человеческого героизма. Это—рыцарский период государства.

В этот период властно врывается экономика, которая до сих пор шла только рядом с войною и служила покорно военной политике. Война уходит из обыденной жизни общества, которая почти целиком наполняется шумом борьбы за материальные, хозяйственные интересы. Хозяйственность, окутывая со всех сторон государ-

ственность. ассимилирует ее до неузнаваемости, разлагает последние „рыцарские“ устои государства и превращает его в покорный орган монополистов экономики. Воин становится сторожем на бирже: государственный идеал либеральной буржуазии.

Но эволюция государства делает еще один шаг: биржевой сторож становится сам биржевиком, беспредельно хищным, дико воинственным и совершенно безнравственным. Государство—эксплоататор, государство—финансист совмещает в себе всю жестокость и всю бесчеловечность своих предков—хищника и воина, не имея и тени бескорыстия честного сторожа. Государство пришло к своему противоречию: бьет час буржуазного государства. На горизонте буржуазного общества подымается грозный призрак социализма, который, по мнению Лаврова, должен государство не уничтожить, а, раньше всего, преобразовать, по возможности, обезвредить и подчинить всецело обществу, чтобы потом растворить его в обществе и упразднить навеки.

7.

Когда Лавров писал свою книгу, он имел перед своими глазами только историческое государство, созданное эксплоататорами, и неопределенный эскиз рабочего государства, оставленный нам Парижской Коммуной, которую он, между прочим, разгадал раньше всех и лучше всех, не исключая Бакунина и Маркса.

У нас перед глазами уже более богатый опыт—советское государство. Вряд ли можно сомневаться, что, с точки зрения Лаврова, опыт советского государства вбивает осиновый кол в могилу идеи государственной власти.

Советское, как и всякое государство, родилось в войне. И это была война войне, самая справедливая и самая естественная война. Советское государство обещало русскому трудовому обществу мир, т.-е. общественную безопасность.

Но мир, достигнутый этой войною, стал прологом к новой войне: национальная война перешла естественно в гражданскую.

Этот период кончился полной победой трудящихся. И что же: заметна ли тенденция к упразднению государства? Наоборот, став монополистом всех национальных богатств, большевистское государство обнаруживает противоположную тенденцию—к поглощению общества, к превращению рабоче-крестьянского общества в свой подсобный орган. Аппараты, созданные для временной надобности—борьбы с контр-революцией и спекуляцией—стали орудием угнетения всего общества, сея недоверие, смуту и панику. Органы государства из органов безопасности стали своей противоположностью.

Советское государство, как и всякое государство, пришло к неизбежному своему отрицанию.

8.

Буржуазная цивилизация пришла к своему кризису. Общество, назначение которого—солидарное сотрудничество, превратилось в военный лагерь, благодаря безумной конкуренции, спекуляции и погоне за барышом. Государство, цель которого обеспечение всех и каждого полной безопасностью, стало источником эксплоатации и насилия подавляющей массы народа. Оффициальная наука на стороне богатых и сильных монополистов. Из создавшегося кризиса нет исхода в рамках буржуазной собственности, которая должна стать общественной: в этом сущность социализма.

Но для своего торжества социализму недостаточно опираться на научную критику буржуазного строя, недостаточно и проповеди всеобщего труда на общую пользу: социализму необходимо, по взглядам Лаврова, опереться на реальную силу. „Реальную общественную силу, говорит он [1]), для своего осуществления рабочий социализм находит в *организации рабочего пролетариата*, который осужден современным порядком на бесконечные материальные бедствия, на неизбежное физическое, умственное и нравственное вырождение и потому сильно заинтересован в изменении современного порядка, а в то же время вполне может захватить в свои руки господствующую роль в данный исторический момент... Рабочему пролетариату нужна лишь крепкая организация, чтобы действительно взять на себя в истории ту роль, которая ему принадлежит по праву".

„Но само собой разумеется, что владыки мира и руководители современного государства не уступят добровольно рабочему пролетариату своего выгодного положения. Они употребят свои громадные экономические средства и средства существующей государственной организации, вполне им подчиненной, для того, чтобы отстаивать свое положение. Путем *легальной реформы* рабочий социализм восторжествовать не может, а потому ему остается один путь—путь *социальной революции*".

Торжество социализма, в сущности, возвращает общество к исконным основам человеческого общежития—ко всеобщему труду и всеобщей солидарности. Ведь только извращение этих слов, по мысли Лаврова, привело все человечество на край гибели.

„Социализм,—говорит Лавров [2]),—в настоящую минуту имеет перед собой задачу *спасения общества* от грозящего ему разложения во всеобщей конкуренции, во всеобщей борьбе всех против всех"...

---

[1]) Стр. 60.
[2]) Стр. 61.

„Социализм ставит себе целью удовлетворение помощью форм общежития всех *нормальных потребностей* человека, следовательно, между прочим, и тех основных потребностей *экономического обеспечения* и *всеобщей безопасности*, в виду которых человечество выработало в своей истории все формы экономических отношений и все формы государственности".

„Какой же может быть союз между социализмом, требующим экономического обеспечения для *всех*, безопасности для *всех*, и государством, которое всеми своими силами и всеми органами охраняет строй, лишающий почти всех экономического обеспечения и безопасности?"

„Между современным государством и рабочим социализмом ни примирения, ни соглашения *нет* и *быть не может*" [1]).

ГЛАВА III.

Личность и общественность.

1.

Безусловное отрицание современного буржуазного государства резко отделяет Лаврова от всех так называемых демократических социалистов и сближает с анархистами, но только до известной степени: ведь, и большевизм „отрицает" государство.

Анархистское отрицание власти заключает в себе три элемента, соответствующие трем этапам борьбы за полное освобождение человеческой личности. Во-первых, анархизм, вместе с революционным социализмом, борется с современным государством, об'являя войну парламентаризму, соглашательству и легализму. Здесь, как мы видели, Лавров на одной позиции с современным анархизмом. Второй этап: борьба рабочего общества против своей собственной бюрократии, во имя социализма овладевшей государственным аппаратом и навязывающей всему обществу свою „диктатуру". Здесь Лавров решительно оставляет современных большевиков и коммунистов и протягивает свою руку анархистам, провозглашающим лозунг: против бюрократии, за общественность! Мы подходим теперь к третьему этапу: человеческая личность, свергнув власть буржуазии и „коммунистической" бюрократии, оказывается лицом к лицу с новым тираном—многоголовым и безликим „обществом", которое ставит себе задачу подвести все живое к одному знаменателю. „Личность или общество?" Вот как ставится вопрос в этой стадии борьбы. Где критерий „добра и зла": в развитии личности или благе обще-

[1]) Стр. 62.

ства? Казалось бы, что Лавров, идеолог критически мыслящей личности, не может отдать судьбу личности в руки самого несправедливого и самого безжалостного судьи—„общественного мнения". Лавров делает эту ошибку, пытаясь, правда, всячески смягчить ее последствия.

Корни этой ошибки не в мировоззрении Лаврова, а в обстоятельствах эпохи. Когда Лавров писал свою книгу, он полемизировал не с анархистом, а с буржуа-либералом и социалистом-государственником. Естественно, что перед лицом своих тогдашних оппонентов он вынужден был выдвинуть какой-нибудь авторитет на место государственного кулака, чтобы новое общество не казалось им пустыней, наполненной хаосом. Но его собственное глубочайшее недоверие к этому новому идолу и божку несомненно: об этом свидетельствуют не только многочисленные оговорки, но и общие основы его мировоззрения.

Однако, было бы неправильно закрывать глаза на одну существенную разницу между лавризмом и анархизмом: исходя из личности, один приходит к обществу, чтоб здесь остановиться и сделать потом общество критерием всех ценностей и основой новой культуры, а другой, исходя из личности, видит в обществе, даже самом свободном обществе, только ступень для дальнейшего развития и усиления личности: от личности к социализму есть путь лавризма, а анархизм ведет от личности к индивидуализму.

Что же служит П. Л. Лаврову зацепкою, дающей ему право внезапно покинуть личность, которую он сам разбудил к свободной критике и свободному творчеству? Этой зацепкой ему служит учение [1]) о здоровом и патологическом обществе.

П. Л. Лавров делит человеческие потребности на три группы. На первом плане стоят потребности в безопасности и материальном обеспечении. Это потребности *естественные:* их должна удовлетворить всякая форма общества, чтоб иметь право на существование. Удовлетворение естественных потребностей возможно только в солидарности. Вот почему *здорово* только такое общество, в котором безраздельно властвует солидарность.

Из этих естественных, т. е. неизменных, неистребимых и верховных, потребностей рождаются потребности *временные* Их, по мнению Лаврова, нельзя отвергать безусловно и категорически, ибо, при известных исторических условиях, они являются неизбежным продуктом естественных потребностей. Но за то для потребностей этой группы неизбежно наступает момент, когда они должны быть признаны вредными. Таковы потребности в религиозном культе и государственной власти.

---

[1]) Стр. 63, 64, 65, 66 и др.

И наконец, есть потребности, безусловно вредные для всякого общества и подлежащие постоянному и немедленному искоренению. К этой группе принадлежат монополии и конкуренции. Это больные, патологические явления, и общество, неспособное искоренить их, есть нездоровое, патологическое общество, осужденное на гибель.

Потребности в монополии и конкуренции, по мнению Лаврова, должны быть признаны „противообщественными стремлениями и, вследствие этого, должны быть тщательно искоренены в том обществе, которое хочет устроить прочное, здоровое, т. е. солидарное общежитие".

Почему солидарность есть здоровье, а конкуренция—болезнь? Лавров, видимо тут же почувствовал, как случайно и суб'ективно это настроение, и делает большое пояснительное примечание[1]).

„Нам могут возразить,—говорит он,—будто мы голословно признаем *это* патологическим явлением, *то*—здоровым, тогда как наши противники, гордо опираясь на предание, восходящее за несколько тысяч лет, считают именно первое естественным и разумным, следовательно, здоровым процессом, второе же—безумным и противоестественным, следовательно, болезненным процессом. Мы принимаем за основание, что в обществе, как в отдельном организме, может быть назван здоровым лишь тот процесс, который доставляет наименее страдания и в то же время поддерживает более продолжительное время связь организма, как единого". Солидарность, по мнению Лаврова, „есть прямая цель всякого общежития" и никогда не содействует увеличению страданий, а монополии и конкуренции целиком противоположны принципу солидарности.

„Не ведет ли неизбежно эта конкуренция,—восклицает Лавров,—к *уменьшению* числа наслаждающихся, к *увеличению* числа страдающих, следовательно, к увеличению вообще страданий в обществе, что есть один признак патологического общественного процесса? Не есть ли отсутствие политических и нравственных убеждений среди господствующих классов, распространение между ними пессимистических миросозерцаний—признанное явление современного общества? Не есть ли это второй признак патологического общественного процесса? Если же и это так, если конкуренция и монополия, в своем разрастании, фатально заглушают солидарность и ведут к смертельной болезни общества, то не имеем ли мы право сказать: здоровое общежитие требует искоренения начал монополии и конкуренции?... Мы, социалисты, говорим, что должна умереть лишь нынешняя *форма* общества, самое же общество может быть здорово и долговечно при другой гигиене".

[1]) Стр. 65 и 66.

2.

Остановимся на этом рассуждении, чтобы нащупать основное расхождение последовательного [1]) анархизма и лавризма.

Солидарность об'является критерием здоровья, потому что она будто бы цель всякого общежития и никогда не ведет к росту страданий. Но так ли это? Только до известной степени.

Разве сам Лавров не доказал нам выше, что общество обязано своим возникновением потребности *личности* в безопасности? Мы вправе и обязаны сделать отсюда вывод, что солидарность отнюдь не цель, а средство, годное лишь до тех пор, пока оно служит своей первоначальной цели—интересу личности. Ясно, что степень солидарности в данном обществе ничего не говорит о „здоровьи" или „болезненности" общества.

И, затем, солидарность солидарности рознь. Солидарность слишком прямолинейная, слишком абсолютная может привести к результату диаметрально-противоположному. Такова, например, солидарность в понимании большевизма. Тарифные ставки, продиктованные этим почтенным принципом солидарности, привели не к укреплению связи общежития, а к распаду рабочего общества на десятки конкурирующих групп и категорий, к воровству, мошенничеству и полному упадку взаимного доверия. Реквизиции продовольствия в деревне тоже вытекали из своеобразного понимания солидарности крестьян и рабочих. А эта солидарность привела не только к расколу между деревней и городом, но и внутри самой деревни и внутри самого города. Из этого, большевистского, понимания солидарности выросла необходимость чрезмерного углубления гражданской войны, Ч. К. и небывалого в истории гонения на человеческую мысль: ведь, все репрессии направлены исключительно против нарушителей солидарности, как ее понимают большевики. И что же, каковы результаты насильственно внедряемой солидарности? Упадок морали, социальный распад, отчаянные муки и ужасающий эгоизм. Конечно, Лавров далек от такой солидарности, как мы увидим это ниже. Но неясность формулы представляет некоторую опасность.

С другой стороны, верно ли, что конкуренция—абсолютно антисоциальная сила, всегда ведущая к распаду общественной связи? Такое утверждение—односторонне. По двум главным причинам: во-первых, сама об'ективная цель конкуренции, ее движущая сила, по природе своей, глубоко социальна: победа конкурента есть сви-

[1]) Говорю—«последовательного», ибо промежуточные между социализмом и индивидуализмом анархические течения, вроде анархо-коммунизма Кропоткина, стоят на одной позиции с Лавровым.

детельство о социальной полезности вложенного в дело труда и таланта; во-вторых, конкуренция есть средство отбора. Средство это, быть может, слишком дорогое, но есть ли другое, более дешевое, и можно ли обойтись без него? Отбор, совершаемый конкуренцией, иногда ошибочен, всегда не совершенен,—но где же совершенный, безгрешный аппарат отбора: чиновник? или мнение большинства? Или кто? Внутри самого индивида тоже не все стройно и солидарно: и в нем конкурируют и борются различные силы, и этот внутренний отбор тоже не всегда удачен,—об этом нам потом говорит наше горькое раскаяние. А без отбора внутри индивида и между индивидами нас ждет одно—апатия, застой—в начале, а потом—распад, гниение и гибель. Большевизм является и здесь красноречивой иллюстрацией. Общество, которое совершенно уничтожит конкуренцию, неизбежно заболеет паразитизмом, ожиреньем сердца и апоплексией.

Конечно, буржуазное общество осуждено на гибель, но симптомы его болезни указаны Лавровым в данном отрывке не совсем правильно.

Признаки надвигающейся гибели буржуазного мира Лавров видит в росте страдания и развитии пессимизма. Прогноз этот можно принять только с большими оговорками.

Разве доказано, что страдание всегда—зло, а наслаждение всегда—благо? Рождение человека сопровождается отчаянной болью: надо ли признать его злом? Голод и любовь—постоянные источники постоянных страданий: надо ли стремиться к их искоренению? Этот вывод делает буддизм; и совершенно последовательно Лавров, конечно, не хочет этого вывода: значит, что-то не верно в предпосылках.

Боязнь страданья вытекает из боязни смерти, ибо страдание есть часто предостереженье смерти. Часто, но не всегда! Это—во-первых. А во-вторых: разве долгая жизнь—лучшая цель жизни? Нет, не долгая, а прекрасная жизнь. Бактерия почти бессмертна, а природа не остановилась на ней и создала человека—такое хрупкое и неустойчивое существо: не для вечности творит природа, а для чего-то другого. И нигде не видно, чтобы природа была гедонисткой: она нигде не отступает перед страданием, она идет к *своей* цели с божественной жестокостью. Правда, человек, созданный этой же природой, боится страданья. Но эту боязнь он сам казнит в себе: в минуту страдания мы часто бежим, а после? Что нам дороже в нашем прошлом: наши удовольствия или наши подвиги? Чем больше всего гордится человек: своими удовольствиями или своими опасностями? Борьба есть страдание, но только в борьбе—рост, творчество, жизнь. Удовольствие есть гармония, умиротворение, апатия и смерть. Солидарное общество есть общество гедонистов, но в этом

его величайшая опасность: гедонисты—проповедники смерти культуры. В „солидарном“ обществе неизбежен упадок ответственности, личной инициативы, личного риска и героизма. Не долгая жизнь, а прекрасная жизнь, не солидарное общество, а героическое общество—вот наша цель. Жизнь—не мещанская драма с добродетельной развязкой, а греческая трагедия, венчающая героя лаврами страдания и смерти.

Пессимизм вовсе не является признаком гниения, как думает, видимо, Лавров. Феогнис, Гомер, Гезиод, да, в сущности, вся греческая поэзия—глубоко пессимистичны. Пессимизм проходит красной нитью через всю историю мировой культуры. Разве Гераклит есть символ упадка греческой культуры, а Эпикур—символ ее силы и роста? История говорит о другом.

Пессимизм—скорее признак распутья. Когда народ или класс приходит к высшему моменту *своего* развития, он, подобно отдельному человеку, останавливается. Л. Толстой назвал этот момент „остановкой жизни“. Это опасный, очень опасный момент—и для человека, и для класса, и для общества: за ним возможен панический бег назад, возможно самоубийство, но возможен и дивный героический порыв к новым далям и новым возможностям. В самом пессимизме, во всяком случае, нет решительно ничего зловещего, ничего позорного. Скорее—обратное: глубина пессимизма есть свидетельство о внутреннем недовольстве, борьбе и жизненности.

Буржуазии и ее интеллигенции есть над чем задуматься: еще не заглохли последние раскаты ее, поистине, великой революции, а кругом уже нищета, жалобы и стоны. От дворянского феодализма—к финансовому феодализму: конечно, есть над чем задуматься. Признаком гибели был бы, при данных обстоятельствах, оптимизм, а не пессимизм. Разве дворянство накануне своей гибели было настроено пессимистично? Наоборот.

Буржуазное общество заблудилось. Оно вызвало силы, с которыми оно не в силах справиться. Но плохую услугу окажет человечеству социалист, который, во имя своеобразно понятой солидарности и гедонизма, толкнет заблудшего путника в трясину стадности и бездушного коммунизма. Буржуазное общество пришло к неизбежности мирового треста—и задумалось. Казарменный коммунизм подсовывает нам другой трест—солдатски-советский. Анархизм благодарит и не хочет ни того, ни другого. Конечно, его не хочет и Лавров, но его идея солидарности нуждается в больших поправках. Анархизм хочет союза, соглашения, ассоциации (socius значит союзник). Солидарность требует полного слияния, стирания, часто обезличения (solus—единый). Анархия есть вольный союз, а не солидарная казарма.

И если свобода, борьба, конкуренция должны приносить страдания, анархизм, подобно природе, идет спокойно навстречу страданиям. Лучше „буржуазный“ пессимизм, чем социалистический гедонизм. Живому псу, быть может, и лучше, чем мертвому льву. Но страждущий лев, все-таки, лучше блаженной свиньи.

Анархизм зовет человечество к солнцу, борьбе и подвигам. Счастье пошлют нам, наверное, боги за нашу доблесть. А если не пошлют, мы все-таки увидим счастье... в своих воспоминаньях, в прошлом. Поэт сказал недаром: „le bonheur n'est pas d'aimer, mais d'avoir aimé“.

3.

Конечно, Лавров далек не только от вульгарного гедонизма, но и от советского коммунизма. В этом мы убедимся позже. Но все-таки в его мировоззрении, как, впрочем, и у Кропоткина, есть за что легко уцепиться современному большевизму. Лаврову, столь близкому к анархизму лучшими, глубочайшими источниками своей мысли и своего творчества, угрожает опасность свалиться к большевизму. Этим скользким местом является апофеоз общества, „счастья“ большинства и святости солидарности. Hic Rhodus, hic salto!

Лавров оригинально выходит из дилеммы: анархизм или большевизм? Он принимает целиком выводы анархизма, но отодвигает момент их осуществления на три—четыре поколения [1]), а в тактике, в практике он, в сущности и в основном, принимает большевизм. В вопросе о государстве лавризм есть нравственно облагороженный и идейно очищенный большевизм; вот что должно сказать к чести большевизма.

4.

От неизбежности гибели капитализма и замены его новым строем П. Л. Лавров логически переходит к об'ективному описанию самого социализма, к тому моменту, когда он окончательно восторжествует.

„Боевой крик рабочего социализма, говорит он [2]), заключается, как известно, в двух формулах:

Прекращение эксплоатации человека человеком,
Прекращение управления человека человеком“.

По мнению Лаврова, вторая формула, в сущности, сводится к первой, ибо „там, где принудительная власть человека над человеком останется неизбежным элементом общежития, нет *никакой* возможности устранить случаи злоупотребления этой властью... а

[1]) Стр. 77.
[2]) Стр. 68.

подобное злоупотребление есть уже эксплоатация человека человеком".

Возникает вопрос: а если злоупотребления властью не будет, значит, и эксплоатации не будет? Согласиться с этим невозможно. Как всякое употребление наемного труда, даже без малейшего обмана, обсчитывания или надувательства, без малейшего злоупотребления, есть эксплоатация, всякое насильственное управление человеком есть та же эксплоатация.

Политика сама по себе абсолютно пуста: ее содержание только экономика. Власть сама по себе нонсенс, пустой звук, если она не приложена к чужому труду, как мертвы и бесплодны машины без живого труда. Власть есть человеческая машина для эксплоатации человека. Когда говорят „власть", то неизбежно имеют в виду принуждение... к чему? конечно, к труду. Всякая власть, самая лояльная, добровольно признанная, есть кредитный билет на чужой труд. И каждое правительство вынуждено подробно определять чины и звания своих агентов, ибо каждый чин есть, так сказать, номинальная ценность кредитного билета. Где бюрократия недостаточно точно регламентирована, возможны и неизбежны злоупотребления властью вроде тех, которые имели место повсюду до чеканки точной монеты, когда деньги шли на вес и, в значительной степени, на совесть.

Наемный труд есть только трансформация рабства, который, как об'яснил нам Лавров, есть только организованное, узаконенное насилие. Насилие и эксплоатация выражают одно и то же явление, только в разные моменты: без насилия невозможна эксплоатация; насилие побуждает работника к труду, а эксплоатация отнимает у работника продукт труда. Как отделить эти два момента один от другого? Причем тут злоупотребление властью или насилием?

Разумеется, в хорошо организованном аппарате господства, сложный процесс извлечения продукта из рук работника разбит на много взаимно связанных маленьких процессов: часть аппарата посвящена непосредственному извлечению ценностей,—это промышленно-финансовый аппарат, так называемая экономика, эксплоатация; другая часть гонит работника на работу, поддерживает правильность и непрерывность ее,—это политика, власть; и каждая из этих крупных частей машины состоит из огромного колеса, приводов, винтов и т. д. Злоупотребление возможно и неизбежно в любом винтике этой колоссальной машины, но оно нисколько не изменяет природы самой машины.

Высшего совершенства достигает этот аппарат в социалистическом государстве, ибо здесь уничтожено то маленькое средостение, которое усложняло и ограничивало дело насилия над работником в капиталистическом обществе: средостение между капитали-

стом и чиновником. Социалистическое государство есть, поэтому, самый абсолютный и фактически неограниченный насильник-эксплоататор; это в одном лице помещик, барон и епископ, владеющий не только имуществом и трудом крепостного, но и личностью его и душою.

Вот почему властолюбие есть своего рода экономический садизм. Садист, видя мучения своей жертвы, в ее беспомощности предвкушает возможное сладострастие. Скупец, считая или созерцая деньги, наслаждается возможными и доступными ему материальными благами. Власть имущий ничем не отличается от садиста и сребролюба.

5.

Сторонники государственности обычно мотивируют необходимость власти двумя главными целями: ради борьбы с преступностью и для организации производства в будущем обществе. Лавров, не отрицая власть в принципе, как мы видели выше, тем не менее, находит излишним и вредным создание специальных и постоянных органов насилия. Иными словами, будучи против анархизма, Лавров в то же время и против государства. Такова, в сущности, позиция П. А. Кропоткина и всех анархистов-коммунистов.

Анализируя преступную деятельность, Лавров приходит к мысли, что большинство преступлений укладывается в две большие группы: одни направлены против существующего строя, а другие против личности.

Преступления против существующего буржуазного строя, конечно, отомрут вместе с ним [1]). „Было время, когда закону приходилось ограждать раба от варварства его господина, но с уничтожением рабства эта опасность исчезла сама собою... Точно так же в обществе, воплотившем в своих формах начала рабочего социализма, сами собой исчезнут все опасности, возникающие для личностей и групп из того экономического строя, который будет отменен самым установлением рабочего социализма".

„При общей собственности [2]), при усвоении обычаем принципа коллективности, при удовлетворении всех здоровых потребностей личности без всякой необходимости для нее в монопольном присвоении ею того или другого элемента общественного богатства, будущее общество будет само собою охранено от громадного числа поступков, которые теперь подавляются—и то лишь в самых мелких и маловажных своих проявлениях и крайне недостаточно—полицейскою и судебной властью".

---

[1]) Стр. 76, 77.
[2]) Стр. 77.

Лавров ничего не говорит нам о преступлениях против социалистического общества. Ибо такие преступления, по его мнению, возможны только как пережитки старого, буржуазного строя и должны совершенно исчезнуть, „когда [1]) рабочий социализм станет *обычаем* и *привычкою* большинства“, в такой же степени как „начала семьи и собственности“ стали „руководящими основами общежития для *наиболее честных* буржуа“.

Оптимизм Лаврова здесь, кажется, значительно преувеличен. „Преступления“ против существующего строя приходят не только от прошлого, но и от будущего. Люди совершают преступления не только потому, что их отсталое сознание еще не приспособилось к существующему, но и потому, что их сознание уже не вмещается в тесные рамки существующего строя. Эти преступления—ласточки далекого будущего. Здесь идет речь не только о так называемых политических преступлениях: правящая партия всегда считает всех своих противников преступниками, и социалисты у власти не составляют в этом отношении исключения. Здесь необходимо иметь длинные ряды преступлений против самих „обычаев и привычки“ рабочего социализма. В средние века сжигали слишком красивых женщин, приписывая их чарующее влияние силе чорта. В наш „просвещенный“ век сажают в тюрьму за аборт, за двоеженство. Конечно, и социалистическое общество будет иметь своих преступников, не только политических—они уже обеспечены за ним в лице анархистов,—но и уголовных: в лице „саботантов“, лиц, одаренных „нездоровыми“ потребностями и т. д. Мечтатели, поэты и одинокие люди не оставят без пищи и социалистические тюрьмы, пока существует само понятие о преступлении; а от этого понятия даже Лавров не отказался.

Преступления против личностей кажутся Лаврову гораздо серьезнее [2]). „Человека возбуждают к деятельности не только расчет и корыстные побуждения, но также аффекты, дорастающие до страсти и в этой форме способные весьма быстро дойти до явлений, которые не только граничат с помешательством, но иногда и прямо переходят в его область“.

Лавров не верит, чтобы воспитание могло совершенно справиться с этими аффектами, хотя он надеется на уменьшение их [3]). „Таким образом, приходится и в будущем обществе готовить, на всякий случай, оружие против оскорблений и насилий, которым может подвергаться одна личность, вследствие того, что другая личность опьянена непобедимою или несдержанною страстью“. Это оружие Лавров находит однако не в специальных органах государ-

[1]) Стр. 76.
[2]) Стр. 77—78.
[3]) Стр. 79.

ственного насилия, а в безличной, но могущественной силе общественного мнения.

6.

„На [1]) подавление аффекта имеет самое громадное влияние *общественное мнение* того общественного слоя или того кружка, в котором действует личность, и та возможность, которую представляют формы общежития для *утайки* совершаемых действий".

„Нравственные и легальные преступления далеко не так страшны личностям, как нарушения обычая, общепринятого правила того кружка, среди которого люди обращаются". „Солидарная [2]) община, в которой интересы всех и каждого связаны во всех общественных отправлениях, неизбежно вызовет формы общежития, где для каждого будет почти невозможно укрыть от других сколько-нибудь серьезные явления своей личной жизни".

„Все это побуждает заключить, что эта громадная сила общественного мнения, направленная в будущем обществе против обнаружения эгоистических аффектов и страстей в форме насилия, может и должна быть вполне достаточна для того, чтобы заменить все нынешние *специальные* принудительные формы государственной власти".

Лавров, конечно, прав, но, к нашему ужасу, прав: личность в социалистическом обществе, действительно, совершенно бессильна в борьбе против общественного мнения. Благодаря отсутствию классовых и кастовых группировок, общественное мнение в социалистическом обществе впервые приобретает единство, прочность и силу, которых оно не знало еще в истории человечества. Как личность экономически и политически беспомощна перед лицом социалистического государства, так абсолютно лишена она силы противодействовать духовному порабощению общественного мнения. Общество впервые встает перед лицом индивида как самостоятельная, единая, упорная и враждебная стихия. Лавров, который больше всех социологов мира сделал для выяснения и возвеличения роли критической личности в истории, не видит смертельной опасности, угрожающей этому драгоценному фактору развития со стороны социализма. Все его внимание направлено в противоположную сторону: обезопасить социалистическое общество от преступных поползновений отдельных лиц. Он с исчерпывающей полнотой раскрывает все средства выслеживания, раскрытия и подавления дурных замыслов отдельных лиц и нигде ни словом не обмолвился о средствах самозащиты того, кого могут выслеживать, раскрывать и давить другие.

[1]) Стр. 79.
[2]) Стр. 81.

Эта странность—не знак жестокости и равнодушия к личности, а результат основной переоценки общества: Лаврову и на мысль не приходит, что само общество может быть преступным, что следовало бы задуматься скорее над средствами обуздания *этого* преступника, вооруженного всеми средствами репрессии, экономической, политической и духовной. В одном месте [1]) у него проскальзывает мысль, что в социалистическом общежитии „по всей вероятности, гораздо скорее может возникнуть избыток общественного контроля, чем избыток личного обособления". Но этот избыток „общественного контроля", т.-е. невыносимой общественной тирании, его нисколько не беспокоит. Но если личность в социалистическом строе лишена всякой возможности „обособиться", т.-е. уклониться от назойливого глаза улицы,—где найдет она защиту своей интимности и критической мысли?

Лавров не придает особого значения этому вопросу, потому что само социалистическое общество ему кажется идеалом и венцом критической мысли: в борьбе между личностью и обществом он на стороне общества.

Правда, в другом месте [2]) он сознается: „Бесспорно, что присутствие подобной подавляющей силы может быть опасно для правильного умственного и нравственного развития личности, и чем важнее будет для общественного порядка именно эта сила, тем сложнее сделается вопрос об охранении от нее самостоятельности личности". И он прибавляет даже, что „эта опасность достаточно серьезна", но не дает нам указаний, в каком направлении личность будет искать своего спасенья от этой опасности. Конечно, в наше время, когда вопрос о личности получил, при советском режиме, такое острое практическое значение, Лавров не оборвал бы своей мысли так беззаботно на самом опасном месте.

Каждая последовательная доктрина выходит из какой-нибудь недоказуемой фикции. Монархисты говорили: „король никогда не ошибается". Якобинцы устами Робеспьера поставили на место короля „народ". Социализм, повидимому, заменяет народ обществом: „общество никогда не ошибается".

Эта фикция хороша как лозунг в революционной борьбе, но, как тезис, она фальшива и не выдерживает ни малейшей критики. Не впадая в большую ошибку, можно скорее утверждать, что общество всегда ошибается: ведь оно всегда держится середины, т.-е. недалеко от вчерашней истины и подальше от сегодняшней. Когда истина признана „всеми", это значит, что она видна уже невооруженным глазом, что она уже недостаточная истина, т.-е. уже не истина. Неужели вопрос о добре и зле так прост, что его можно

[1]) Стр. 81.
[2]) Стр. 103.

предоставить произволу „всех“? Неужели заблуждение „всех“ не заблуждение, преступление „всех“ не преступление? Разве количество деятелей меняет природу деяния?

Мы можем льстить себя надеждой, что ужасы средневековья не вернутся: что не будут убивать ведьм, не будут сжигать еретиков вроде Яна Гусса или Джордано Бруно. Но уверены ли мы, что в социалистическом обществе социалистическое общественное мнение не казнит таких „преступников“, как Оскар Уайльд или Поль Верлен?

Здесь снова встречаются и расходятся в разные стороны социализм—защитник общественности и анархизм—идеолог личности, точнее, человечности.

7.

„Допустим [1]), что общественное мнение, поддержанное собственным размышлением личности и нравственным убеждением, поддержанное привычным строем мысли и разумною системою воспитания, окажется иногда бессильным против мгновенного опьянения страстью. И для этих исключительных случаев едва ли необходима *специальная* полиция, *специальный* суд. Как спасать утопающего бросается *всякий*, кто умеет плавать, как о пьяном или бесчувственном должен позаботиться *всякий*, кто может сделать это, так и обязанность полиции в подобных случаях лежит на *всяком* члене *солидарного* общества. Никто не облечен *специальным правом* быть властью и распоряжаться другими, но всем принадлежит *обязанность* взять на себя *ответственность* принудительного действия над человеком, которого непобедимый припадок страсти сделал неспособным рассуждать и руководить своими действиями сообразно собственным нравственным убеждениям“.

„Будущее [2]) общество не будет нуждаться в специальной полиции, охраняющей личную безопасность, потому что *все* будут охранять ее“.

„В меньшинстве более серьезных случаев, при более упорной натуре преступника, он может подлежать приговору не каких-нибудь специальных судов, но общих собраний тех самых групп, в которые он свободно вступил для общего дела и взаимного развития. И тут *все*—судьи того, с кем они солидарны в общежитии... Общественное мнение, присутствующее в самой совести преступника, давящее на него в известном ему негодовании всех лиц, ему близких, наконец, выражающееся в коллективном приговоре всех тех, с которым его связало общежитие—вот единственный суд, возможный в солидарном обществе тружеников на общую пользу над братом, опьянен-

[1]) Стр. 82.
[2]) Стр. 82—83.

ным страстью. Для исполнения приговора не нужно никакой принудительной силы: сам преступник исполняет его над собою, как бы он строг ни был".

Это, разумеется, совершенно правильно: в социалистическом обществе уклониться от приговора общества невозможно: оно вездесуще и всемогуще. Ему незачем приговаривать к смерти, как это делает буржуазный суд со своими упорными „преступниками": достаточно члена публично исключить; шельмованному, хотя бы это был величайший поэт, ничего не останется, как уйти от жизни. Социалистическому обществу незачем разоряться на тюрьмы: общественно ошельмованному мир будет теснее одиночной камеры, стоит лишить его такого пустяка, как членская книжка, без которой он осужден на голодную и позорную смерть. Лавров совершенно прав и в отношении полиции: она не нужна там, где все *обязаны* быть полицейскими.

Разумеется и то, что такой способ борьбы с преступником самый дешевый, самый скорый и самый решительный, с точки зрения общества. Но является ли он самым правым и самым гуманным *с точки зрения преступника?* Audiatur et altera pars. Разве понятие о преступлении так просто и так неизменно, что всякий преступник всегда виновен и одинаково виновен? Разве право только на стороне общества, а преступник только об'ект права? Всякое преступление есть борьба между индивидом, перешедшим через определенную границу, и обществом, которое эту границу права установило. Допустив недопустимое: что месть принципиально допустима—совершенно очевидно, что судить должно не общество и не собрание людей, работающих вместе с обвиняемым на фабрике или в конторе, и не уличная толпа. Это—суд Линча, погром на жидов, избиение негров, швыряние в Фонтанку „золотопогонников". это возврат к кошмарам дикости, а не шаг вперед *в обеспечении личности.* Нарушитель права вовсе не бесправен. Социалистический суд не дает никаких гарантий для права преступника, который, может быть, не преступник, а смелый пионер, герой и мученик.

Лавров не касается здесь самой идеи преступности. Он не спрашивает: есть ли преступление вообще? Этот вопрос, очевидно, не входит в задачу его исследования. Анархизм, видящий единственную живую реальность в личности, ставит проблему человечности так широко, что проблема преступления и наказания принимает совершенно другие формы. Считая наказание во всех его формах только более или менее утонченно-мучительной формой мести, анархизм не видит в наказании ни малейшего элемента права. Преступление есть акт жестокости со стороны преступника и несчастье для пострадавшего: но кто из них *прав,* могут решить только они,—ведь, над личностью нет другой, высшей реальности:

ни Бога, ни государства, ни общества. Когда толпа убивает вора или шпиона, в этом „суде“ столько же права, как в ударе, которым лев убивает муху, мешающую ему спать.

Первобытное общество судило преступника довольно просто: оно его с'едало или убивало. Все дальнейшее развитие суда было проникнуто одной тенденцией—усложнить и удлинить всячески промежуток между преступленьем и казнью. Из этой тенденции родилась наша наука об уголовном праве. Современная форма цивилизованного суда, при своих из'янах, все-таки не оставляет обвиняемого совершенно беспомощным. Кропоткин и его школа делают еще один шаг вперед, предлагая третейский суд. Социалистическая форма суда—суд „всех“—может внушить только страх за судьбу одинокой личности.

В обществе, построенном на коллективной собственности, исчезает идея кражи. Там, где любовь свободна, исчезает идея разврата или принимает совершенно неожиданные формы. Идея преступления вообще исчезнет с того момента, как общество перестанет выступать как постоянная, организованная сила, имеющая силу, а, потому, и право карать.

Когда-то считалось совершенно естественным, что преступника с'едали. Потом его забрасывали каменьями, свергали в море или рубили ему голову. Еще позднее его обращали в рабство. Современное общество называет это порабощение тюремным заключеньем. Социализм, делая как будто шаг вперед, на самом деле возвращает нас к исходной точке, когда безоружный преступник стоял лицом к лицу перед мстительной общиной.

Пока не поколеблена идея преступления, нет подхода к идее суда. Наши предки установили незыблемый закон жизни: „никто не может быть едим“. Но все формы наказания, в сущности, только формы людоедства: преступника с'едают не прямо и не сразу, а через извлечение из него полезной рабочей силы. Тонкую форму узаконенного людоедства представит всякий суд. С людоедством будет покончено лишь тогда, когда человечество, отбросив *лицемерное* попечение о больном и преступном брате, яснее выразит старый закон наших предков и скажет: „никто не может быть судим“.

ГЛАВА IV.

Проблема организации труда.

1.

Отвергнув государство, как блюстителя личной и общественной безопасности, Лавров переходит к вопросу о роли государства в области хозяйства.

В основу всего хозяйственного строя будущего общества Лавров, подобно Кропоткину, кладет принцип полного коммунизма: с каждого по его способностям, каждому по потребностям [1]). Он принципиально отрицает принцип оплаты труда, и доводы его поразительно аналогичны тем, которые Кропоткин потом приводил в своей книге „La conquête du pain" („Хлеб и Воля"). Он отвергает оплату труда даже для тех работ, для которых может оказаться слишком мало желающих.

„Я устраняю,—говорит Лавров [2]),—немедленно мотив „оплаты" работ, так как он не может иметь места в будущем обществе по самому принципу общности имущества: плата, большая или малая, лишена всякого значения в виду личности, которая и без того обеспечена в своем существовании и развитии. Каким образом оплатить труд работника в этом обществе? Он и без того нравственно обязан отдавать все свои силы обществу, общество же и без того должно давать ему все необходимое из общего имущества. Следует ли ему дать, в этом случае, кроме необходимого, *избыток?* Но что он сделает со своим избытком? Он не может купить себе никаких добавочных наслаждений. Или он будет предаваться праздности на счет других? Но в обществе, основанном на положительном экономическом начале всеобщего труда, праздность вызывает всеобщее презрение и негодование, не говоря уже о том, что он сам, под влиянием общественного мнения, привык так на нее смотреть. Если бы даже ему захотелось полениться, то он так же тщательно постарается победить это влечение, как в нынешнем светском обществе побеждают выражение скуки и зевоту во имя „приличия". Всякая форма оплаты труда по частям предполагает частную собственность, покупные наслаждения, неравенство долей в участии выгодами общежития и труд, как зло, от которого не уклоняются лишь по невозможности или по выгодам, им доставляемым. Но все это находится в прямом противоречии с самыми основами рабочего социализма".

До самых последних лет доводы Лаврова казались всем анархо-коммунистам и революционным социалистам неотразимыми. Кропоткину анархизм и коммунизм кажутся даже неотделимыми один от другого, как бы части одного и того же общества. Но опыт русской революции и опыт гражданской войны во всей Европе снова ставит этот, теоретически уже как будто окончательно решенный вопрос,—правда, в несколько иной форме.

Раньше всего, любопытно, что марксисты, выступавшие ярыми противниками коммунизма во имя коллективизма, овладев властью,

[1]) Правда, говоря о потребностях, он имеет в виду только «нормальные» и «здоровые» потребности, без дальнейших, более ясных определений.

[2]) Стр. 84.

в России, преобразились из Савла в Павла. Это преображение подозрительно и само по себе могло бы заставить безгосударственников еще раз пересмотреть свой догмат коммунизма: нет ли в нем опасности для свободы, если злейшие враги ее могут с ним так легко примириться? Не правы ли Прудон и Бакунин против Кропоткина?

Но к этому законному подозрению присоединяются серьезные факты. Коммунизм был воспринят анархистами при том допущении, что современное общество достаточно богато, чтобы *всех* обеспечить всем, и даже необходимым досугом [1]). Но опыт последних лет показывает, что, благодаря отчаянному сопротивлению государства и буржуазии, хозяйство попадает в руки революционного народа в таком жалком состоянии, что не может быть и речи о всестороннем удовлетворении потребностей всех индивидов. Обществу приходится каждый раз себя спрашивать: кому оно вынуждено оказать преимущество, дабы не погибнуть и не погубить революцию. О коммунизме не может быть и речи.

С другой стороны, многие доводы против заработной платы потеряли значительную долю своей убедительности. В настоящее время мы еще далеки от того, чтобы считать наши производительные силы сказочными и наши богатства неисчерпаемыми. Наши магазины (в богатых капиталистических странах) ломятся от товаров, потому что цена их делает их недоступными массам. Откройте их для всех нуждающихся, и фиктивность наших богатств станет очевидной. Стало быть, при относительной ограниченности наших средств, от полного коммунизма пришлось бы перейти к системе пайков, которая в России показала нам всю свою нелепость, несправедливость и расточительность, вызывая такую же бешеную конкуренцию из-за заработка, как и денежная оплата труда.

Деньги играют такую незавидную роль в капиталистическом обществе потому, что богатства—в руках отдельных капиталистов, в руках которых деньги играют роль орудия порабощения неимущего. В обществе, основанном на кооперации, деньги могут служить только мерилом ценности и средством распределения продуктов труда. В исполнении этих функций деньги решительно ничем незаменимы, пока общество не придет к полному коммунизму. Желание заменить деньги натуральной оплатой труда так же разумно, как замена телефона рупором и железных дорог шоссейными.

Социальная революция должна освободить работника от хозяина и чиновника. Все остальное—дело длительного развития. Спешить теперь, до полного торжества революции, выбросить за борт такие ценные средства обращения, как деньги, значит ставить себе задачи утопические. Денежная оплата труда делает работника

[1]) См. Кропоткин: «Хлеб и Воля», гл.: «Наши богатства».

свободным в распоряжении своей долей созданного при его участии продукта. Нам незачем бояться „избытка“ средств в его руках: из этого избытка родится то, что дороже всех „приличий“ даже социалистического общества: родится искусство, о котором, между прочим, Лавров нигде не вспоминает в этом исследовании. Возникновения капитализма также не приходится опасаться, раз государственная машина уничтожена, земля и средства производства вырваны из рук частных лиц, и наемный труд заменен вольной кооперацией.

2.

Если государственная власть отсутствует, кто возьмется субсидировать науку и научные исследования? Лавров дает нам чисто анархистский ответ [1]): „не только личности, но целые общины и федерации общин вступят в свободный союз для осуществления ученого изыскания; под руководством избранных союзом специалистов-ученых будут начертаны планы нужных инструментов и материалов для этих изысканий; специалисты-механики, принадлежащие к союзу, с увлечением займутся выделкою инструментов и обдумыванием их улучшения; другие члены того же союза с такой же готовностью будут участвовать в отыскании, выборе и доставке материала“, и т. д. Он прибавляет: „В этой картине я не могу найти ничего утопического, невозможного, даже требующего от человеческой природы гораздо более, чем она дает в наше время“.

И Лавров совершенно прав. В советской России, где культурная работа поставлена в крайне тяжелые условия, благодаря всеобщей разрухе, сотни и тысячи лиц готовы жертвовать своим отдыхом и здоровьем для научной работы. Но эти силы и порывы пропадают втуне и глохнут, благодаря глубочайшему и естественному недоверию правящей партии ко всему, что приходит к ней извне. Совершенно иное положение создастся в будущем обществе, где отсутствие организованной и вечно подозрительной власти откроет простор личной инициативе.

„Мы [2]) уже теперь видим дорого стоющие экспедиции во внутренность Африки и раскопки в Вавилоне, производимые безо всякого государственного содействия, на частные средства газетных издателей, которые спекулируют на эти рекламы особого рода. Нет ни малейшей причины сомневаться, что в будущем обществе свободные союзы с научною целью, охватывая личности, общины и федерации общин, будут совершать изыскания более обширные, чем те, для которых когда либо решились бы министры-политики внести крупную сумму в государственный бюджет“.

[1]) Стр. 85.
[2]) Стр. 86.

3.

Научная работа связана с таким наслаждением, что вряд ли можно в самом деле сомневаться в том, что для нее найдется достаточно охотников, самых бескорыстных. Но как быть с работами неприятными: не нужно ли для них вмешательства власти? Большевизм ответил на этот вопрос, конечно, положительно, вводя бесконечные „повинности“: по очистке улиц от снега, от нечистот, по разгрузке дров, по рубке дров и т. д. Лавров дает нам ответ отрицательный. Психологический анализ обычаев и привычек нашего времени, при помощи которого он мотивирует свое мнение, вряд ли совершенно безукоризнен, но в высшей степени интересен.

„Люди, говорит он [1]), знакомые, хотя бы только по книгам, с образом жизни „сливок общества“ в последние два века, могут припомнить сотни примеров, где люди вполне обеспеченные и материально, и по своему общественному положению, проводили день за днем в произвольно наложенных на себя мучениях неудобного костюма, душных комнат, скучнейших и бесполезнейших церемоний, даже прямо опасных для здоровья и жизни действий, лишь бы исполнить *все*, что требовали общественные приличия, и превзойти друг друга в точности исполнения этих требований. В этом нелепом направлении совершались геройские подвиги, подавлялись физические и нравственные страдания, приносилось в жертву всякое личное влечение, приносилась в жертву самая жизнь... во имя *одного* идола—*одобрения и удивления* со стороны того жалкого кружка светских людей, с которыми они считали себя солидарными.

Можно ли надеяться, что в будущем обществе эта готовность на самомучение в виду общественного одобрения и удивления будет играть достаточную роль для того, чтобы вызвать ряд действий на общую пользу?“

Лавров надеется, что эту силу вызовет и разовьет обычай [2]). „Он был могуч в родовой аристократии, в исключительных придворных кружках доброго старого времени; он был силен в старой буржуазии городских патрициев, замкнутого судебного сословия, в старых цехах и рабочих товариществах с их привилегиями, потому что все эти группы вели коллективную борьбу между собою; члены их крепко держались друг друга, причем каждая высшая группа находила в обычае символ своего обособления и своей солидарности“.

Правда, сила этого группового обычая чрезвычайно ослабела в наше время во всех слоях общества, кроме аристократии. „Лишь этот класс остался в значительной степени—хотя далеко менее

[1]) Стр. 86.
[2]) Стр. 88.

прежнего—подчинен влиянию взаимного „одобрения“ и „удивления“, обусловленного строгим, самоотверженным, а в иных случаях геройским исполнением того закона, который называется светскими приличиями“.

„Но слабость этого начала в настоящее время,—думает Лавров,—тесно связана с отсутствием солидарности между членами общества, отсутствием, которое вызвано все усиливающеюся конкуренцией, с одной стороны, все увеличивающейся трудностью существования рабочего большинства, с другой. Обеспечение всем и каждому всего необходимого для существования и для развития устранит одну из причин этой слабости“ [1]).

Факты в этой картине изображены совершенно правильно. Нет сомнения, что и надежда на будущее вполне обоснована. Везде, где общество разрешает себе роскошь свободной игры страстей и вкусов, для каждой работы находится, в общем, достаточное количество охотников. В тюрьмах, например, где грязные работы исполняются обязательно и по очереди, почти все стараются уклониться от неприятной работы. Но там, где эти работы не обязательны, находится много охотников нести их изо дня в день, не удостоиваясь даже одобрения товарищей по камере. Советские субботники, несмотря на совершенно негодную организацию, с никому ненужными и оскорбительными формальностями, бестолковщиной и хаосом, дают богатый и ценный материал в пользу свободного труда.

Но, кажется мне, в об'яснении этих фактов Лавровым допущены некотрые несомненные натяжки. Он хочет все мотивы вывести из солидарности. Это—ошибочно. Солидарность—огромная сила, но сила нивеллирующая, а не мотивирующая. Сила солидарности, подобно тяжести, сгибает все к одному уровню, а не толкает в высь. Буржуазия вовсе не лишена чувства солидарности: и она организует кооперации, тресты, общества, партии, научные институты (вспомним хотя бы американских миллиардеров), а между тем в ее среде Лавров не находит того уважения к „приличиям“, которое так могущественно в аристократии. В средневековых цехах и даже в первоначальных цеховых организациях тред-юнионов обычай еще был силен, а в современных профессиональных союзах Лавров его не констатирует. В чем же дело? Очевидно, кроме солидарности, приходится допустить какую-то другую силу. Этой силой и является как раз чувство обособления, чувство индивидуализма, а не альтруизма.

Когда аристократ или член цеха берет на себя всяческие муки во имя обычая, во имя кастового приличия, он делает это не из солидарности со своими, а из кастовой гордости: чтобы не дать себя

[1]) Стр. 88, 89.

смешать с людьми низшей касты или враждебного цеха. Удивление и одобрение тут не причем: потому, что эти жертвы приносятся и тогда, когда их никто не видит. „Он солидарен со своими потому, что через них он подымается над остальными, выделяется из массы. Не из солидарности бросается животное впереди стада навстречу опасностям, а из гордости, тщеславия и своего рода презрения к своим. Когда люди „лезут на вершину высочайших гор или, со страшными лишениями, предпринимают путешествия в местности пустынные или населенные дикими племенами, из-за того лишь, чтобы им удивлялись, как это они были там",—то солидарность и здесь не причем: с кем солидаризируются здесь? Наоборот, у нас здесь яркие примеры чувства, противоположного солидарности: „Я-де посмел то, чего остальные не смеют; пусть я погибну, но я победил; их удивление—свидетельство о моем превосходстве над ними". Здесь аристократизм, а не солидарность.

Ссылка Лаврова на моды, как иллюстрацию чувства солидарности, тоже не вполне обоснована. Погоня за модой вытекает не из потребности быть, как все, а из страха отстать и попасть в категорию отсталых, бесвкусных или бедных. Надо идти за модой, чтобы быть впереди и казаться шикарным. Носить не модель, а копию—признак вульгарности: причем тут солидарность? Но кто не в силах добывать себе модели из самых *редких* мастерских, бежит, по крайней мере, за модой, потому что и это трудно для большинства и все-таки *выделяет* из массы. И здесь аристократическое, индивидуалистическое чувство играет свою роль, а не солидарность.

Но эти оговорки, задевая аргументацию Лаврова, нисколько не затрагивают его выводов [1]), что и здесь, в организации труднейших и неприятнейших работ „специальная принудительная власть оказывается излишнею".

4.

Еще легче дается Лаврову отбить нападения государственников, когда они пытаются выставить на вид затруднения, связанные с такими исключительно сложными и монопольными предприятиями, как железные дороги или копи.

„Положим, 100 общин, расположенных в данной местности, употребляли для топки частью каменный уголь, доставляемый с довольно дальнего расстояния, частью дрова и торф, причем поддерживались рощи для дровяного леса; определенное пространство торфяников назначалось для добывания торфа; наконец, на перевозку всего нужного топлива, на расчистку и содержание рощ, для рубки дров, на самую рубку их, на работу в торфяниках употреблялось определенное число часов работы всеми, кто принимал участие

[1]) Стр. 90.

в этой работе. В собрании одного геологического общества один член читает записку о том, что, по таким-то и таким-то соображениям, в местности довольно центральной для этих ста общин, должен находиться каменный уголь хорошего качества. К этому мнению пристают многие из геологов, и в газетах всех ста общин эти мнения передаются с подробностями и с комментариями... Статистические общества местности немедленно дают приблизительное вычисление, сколько часов работы было бы выиграно, если бы каменный уголь добывался на месте. В разных специальных обществах составляются и подвергаются обсуждению на собраниях и в газетах проекты относительно того, что можно было бы сделать из пространств, занятых торфяниками, и из рощ, назначаемых для дров. Если выигрыш во времени очевиден, и то же самое количество человеческого труда оказывается в состоянии не только доставить нужное топливо для рассматриваемой местности, но еще дать другой добавочный результат, то общественное мнение начинает влиять решительно в пользу приступа к работе. Между тем, чисто-научный интерес, возбужденный в разных геологических обществах, вызывает вербовку членов этих обществ, для того, чтобы на опыте решить вопрос, точно ли правы геологи, предполагающие в этой местности большой слой угля хорошего качества. Составляется небольшой свободный союз исследователей, который выбирает руководителя разведочных работ, распределяет между членами труд изготовления нужных инструментов, разведочные работы... Результат получен удовлетворительный: каменный уголь найден в достаточном количестве и хорошего качества.

„Под влиянием всеобщего интереса, составляется немедленно свободный союз для разработки найденного каменноугольного слоя. Выбирается временный комитет для составления плана и сметы работ... Комитет общества разработки входит в сношения с собраниями общин и заручается их мнением. Таким образом определяется количество угля, которое должно быть добываемо ежегодно из новой копи, и количество часов работы углекопов, возчиков, механиков, сортировщиков, конторщиков, распорядителей, нужное для дела. Комитет публикует расчет и приглашает всех желающих записываться членами в общество для разработки. Общество приступает к работам лишь тогда, когда по всем специальностям нашлось довольно много охотников...

„Должно помнить, что при этом не существует ни обременения работою, ни резкого различия мышечной и мозговой работы, ни какой-либо материальной выгоды для лица, избранного на ту или другую должность...

„Но для общего руководства обширными работами нужна, говорят, власть, которая придавала бы им единство и ценность, кото-

рой подчинялись бы все участники. Эта власть существует, но она— власть, избранная теми самыми лицами, которые ей подчиняются; она власть, существующая лишь до той минуты, до которой ее считают нужною для самого дела; она решительно не имеет никакого значения вне этого дела. Следовательно, в ней нет следа государственного начала, нет следа *управления* (не добровольного) *человека человеком*. Каждый член общества может каждую минуту оставить копи, но пока он участвует в их разработке, он нравственно обязан безусловно подчиняться свободно-избранным руководителям работ"[1]).

Такой же метод свободной ассоциации Лавров представляет себе для управления железными дорогами.

В настоящее время идеи эти настолько вошли в обиход анархизма, благодаря популяризации их Кропоткиным, что, вероятно, немногие догадываются об их первоисточнике.

В описании Лаврова организации труда недостаточно выдвинут как раз тот элемент, который в наше время играет особенно важную роль: производственные союзы. Лавров упоминает о них вскользь при описании управления железными дорогами. Но нам не следует забывать, что его книга написана за 15—20 лет до возникновения революционного синдикализма, который впервые поставил вопрос о роли профессиональных союзов в организации производства. Тем не менее, в его изложении все существенные черты сохранили свою силу до настоящего времени.

И как далек Лавров от современной большевистской практики! Впрочем, сам Лавров относил этот план организации к отдаленному будущему. Для ближайшего времени он, к сожалению, не избег самых жестоких ошибок современного большевизма.

ГЛАВА V.

Диктатура переходного времени.

1.

Лавров, считающий власть совершенно ненужной для будущего социалистического общества, считает известную долю власти необходимой для переходного времени, но само понятие переходного времени остается у него довольно неопределенным. Конечно, под ним разумеется весь тот период, который начинается с момента уличной победы над противником до дня нормального установления социалистического строя.

Никто не станет отрицать, что втечение этого ряда лет предстоят особые затруднения, от которых впоследствии общество со-

[1]) Стр. 93, 94, 95 и 97.

вершенно избавится. Но значит ли это, что преодоление *этих* затруднений требует совершенно особых, исключительных приемов, таких, которые в социалистическом обществе мы сами признаем не только ненужными, но и вредными?

Всякий новорожденный организм нуждается в особом уходе, в особо деликатном внимании, но согласно природе и потребностям самого организма, а не воспитателя. Стоит только взглянуть на воспитание матерями своих детенышей среди животных. Почему новое человеческое общество должно быстрее созревать под пинками и ударами революционной полиции, а не в атмосфере света, тепла и свободы?

Капитализм не может сразу перейти в социализм. Это—очевидно. Общественный строй рождается слабым, почти беспомощным, но *живым:* этого не следует забывать. Социализм нельзя построить механически, как складывают машину из отдельных частей, изготовленных в разное время и в разных местах. Задача социалиста не задача тюремщика и даже не архитектора, а задача акушера. Если ребенок не был живым в чреве матери, его не оживит никакое искусство. Если социализм не созрел в недрах капитализма, никакие диктаторы не дадут ему жизни: они только истерзают его, изуродуют.

Марксизм это когда-то знал. Но как только власть ему попала в руки, он об этом забыл, как принцы забывают о своем либерализме, как только вступят на престол. Но действительность—мстительна. Факты—упрямые вещи, и факты кричат: русская революция—чудовищный аборт. Это ценный материал для социальной клиники, бесспорно; но наука бессильна там, где природа не может. Народ, который хочет прыгнуть из полукрепостничества в социализм, готовит выкидыш.

Диктатура „советов" заменила „демократию". Потом диктатура партии заменила советы. Еще позже на место партии, в сущности, стала полиция—Ч. К. Но пришла ли Россия к коммунизму? Нет, к капитализму.

Пример русской революции не единственный. Все революции одинаково показательны. 4 августа французская революция одержала свою последнюю победу, все остальное было кошмаром и поражением. Надо было пережить Робеспьера и Наполеона, чтобы окольным путем, заваленным трупами, придти к 4 августа.

Где же спасительная роль диктатуры?

Лавров (не имевший перед глазами нашего опыта), делая уступку якобинству, смутно чувствовал все опасности, которыми чревата была эта уступка.

Социалистам,—говорит он,—после победы над буржуазией и ее правительством „придется одновременно ограждать себя от

наличных опасностей, грозящих новорожденному обществу, и в то же время придется остерегаться от мер, которые, при всем своем кажущемся удобстве для разрешения наличных затруднений, могут иметь самое гибельное влияние на дальнейшее будущее, вследствие того, что внесут в общественный строй элементы, враждебные рабочему социализму, или дадут возможность развиться подобным элементам“ [1]).

Бесспорно, новорожденному обществу угрожает не мало опасностей,—но нужна ли для борьбы с ними государственная власть?

2.

Лавров, исследуя подробно все опасности, угрожающие социалистической революции в переходное время, сводит их к четырем группам:

„1) Прежде всего [2]), в нем присутствуют остатки паразитов старого общества, которые, по самому своему положению, враждебны новому порядку.

2) Огромное большинство лиц, составляющих новое общество, вовсе не усвоило себе начал рабочего социализма; кроме того, все участники нового строя выросли в старом и перенесли из него в новый строй привычки и влечения прежнего времени; следовательно, неясное понимание, привычки и страсти могут беспрестанно вызывать членов нового строя к действиям, опасным для нового порядка.

3) Лица социально-революционного [3]) союза, которые, вследствие хода революции, стали властью в общинах и на более обширных территориях, могут поддаться развращающему влиянию своего положения и злоупотребить своей революционною властью, или присвоить ее себе в ненадлежащих размерах, или удержать ее долее, чем это необходимо.

4) Наконец, *рабочей России* вообще грозит непрерывная опасность извне, из императорской и капиталистической России, и из других соседних государств, где к этому времени еще не совершился социальный переворот“.

О последних двух опасностях (борьба с злоупотреблением властью и с иностранными империалистами) будем говорить позже. Мне кажется, что в них нет ничего такого, что вызвало бы необходимость в создании государственного аппарата: злоупотребление властью невозможно там, где не будет этой власти; а если допустить, что для борьбы с иностранными и собственными белогвар-

---

[1]) Стр. 106.
[2]) Стр. 151.
[3]) Так Лавров называет правящую социалистическую партию.

дейцами и нужна постоянная, бюрократически-империалистически построенная армия, здесь нет еще места для организованной диктатуры: армия только часть народа, и военное дело только часть народного труда.

Гораздо важнее, конечно, первые две группы опасностей.

„Относительно первых двух опасностей может показаться с первого взгляда, что всего удобнее устранить их привычными приемами старого общества: составить кодекс социалистических законов с соответствующим отделом „о наказаниях", выбрать из среды наиболее надежных лиц (преимущественно из членов социально-революционного союза, конечно) комиссию „общественной безопасности" (Лавров предчувствовал нашу В. Ч. К.), для суда и расправы; организовать корпус общинной и территориальной полиции из сыщиков, разнюхивающих нарушения закона, и из охранителей благочиния, наблюдающих за „порядком" (наши областные и районные Ч. К., ВОХРА и др.; Новомирский); подчинить людей „заведомо опасных" социалистическому полицейскому надзору; устроить надлежащее количество тюрем, а, вероятно, и виселиц с соответственным персоналом социалистических тюремщиков и палачей (наши „внутренние тюрьмы", „концентрационные лагери" и „карательные отделы". Новомирский); и затем, для осуществления *социалистической легальной справедливости,* пустить в ход всю эту обновленную машину старого времени, во имя начал *рабочего социализма.*

„Не знаю, как это может показаться иному читателю, но я нахожу, что подобный „удобный" (как все привычное и рутинное) прием представляет более опасностей для общества, имеющего в виду организоваться по началам рабочего социализма, чем всевозможные враги внутренние и внешние, всевозможные увлечения личной страсти и всевозможные беспорядки".

„Он опасен особенно в двух отношениях: во-первых, потому что он развращает мысль членов нового общества, соединяя в ней понятие о справедливости (нравственной цели нового общества) с явлениями, не заключающими в себе и следа какого-либо нравственного побуждения; во-вторых, потому что он с самого начала нового строя приучает считать целесообразными такие приемы, из которых выросло большинство вредных элементов старого общества, и из которых также может вырости едва ли искоренимое зло и в новом строе".

„Установление *специальных* занятий судебною и полицейскою практикой неизбежно вызывает образование меньшинства, которое вырабатывает в себе особенную склонность к юридическому формализму и к стесненню воли других,—меньшинства, которое мало-помалу присваивает себе эти функции и становится центром *привыч-*

ной государственной деятельности, как подобные же функции в первые периоды истории послужили основою развития государственного элемента“ [1]).

Взамен специальных органов, вроде наших Ч. К., ревтрибуналов и пр., Лавров предлагает предоставить заботу о защите безопасности—прямой народной расправе, т.-е. самим свободным федерациям работников.

Не странно ли, что после того он все-таки не решается сказать просто, что государственная власть на другой день после революции должна быть уничтожена?

Государственный предрассудок сидит очень глубоко. Трудно вырвать его последние, глубочайшие корни. Но несомненно, что одним из корней его является недоверие бывшего господина к бывшему холопу. Интеллигент, воспитанный на „господской“ культуре, при всем своем искреннем народолюбии, боится бывшего раба, la canaille humaine. Любя искренно каждого отдельного работника, болея его болестями, он испытывает какой-то наследственный страх перед этим морем темных голов,—не страх за себя, но беспокойство и неуверенность за эту человеческую стихию. А вся история человечества, особенно история революций, говорит о другом: народ способен на вспышку темного звериного гнева—на погром, но он неспособен к длительной, организованной жестокости. Террор—эта система вечного погрома на инакомыслящих—есть создание интеллигенции. Народ, конечно, не анархист,—он для этого недостаточно культурен,—но он равнодушен к власти: властолюбие, сестра эксплоатации, есть дитя господское. Народное равнодушие к власти и было вечной основой, на которой друзья народа—его трибуны, демократы и коммунисты—строили свою карьеру. И народ так привык всегда видеть над своей головой палку, то вражескую, то дружескую, но всегда одинаково больно бьющую, что он легко и спокойно мирится со всеми ужасами режима, если он не лишает его того минимального „завоевания“, которое стало ему жизненно необходимым. Но народ никогда не одобряет того звериного кошмара, который называется террором.

Лавров ненавидел и презирал революционный террор, и если он не в силах был совершенно отказаться от призрака диктатуры, то во многом винить приходится обстоятельства. Он писал свою работу в то время, когда современное рабочее движение еще недалеко отошло от своей колыбели. Французский пролетариат лежал повергнутым на земле после пораженья Коммуны. В романских странах билась революционная волна, но до штурма твердынь капитала было еще далеко. Рабочее движение в Германии делало свои

[1]) Стр. 152, 153, 154.

первые успехи. Англия была страною мирного, соглашательского тред-юнионизма. В России дело было еще безнадежнее. Но главной чертой тогдашнего времени мы должны признать вот что: *отсутствие широких экономических организаций пролетариата с революционной программой*. Чтобы при этих обстоятельствах не впасть в бланкизм и якобинство, нужна гениальная интуиция Лаврова.

Лавров не мог совершенно и принципиально отказаться от государственной власти для переходного времени, так как он не видел того элемента организованной общественности, суррогатом которого и является, по его учению, государство. Имей он перед глазами конфедерации труда Франции, Испании, Италии и других стран, он увидел бы в них тот фактор солидарности, который делает излишним и вредным государство не только в будущем, но и сейчас, в переходный период.

Диктатура есть тот рычаг, которым меньшинство двигает и подымает массы. Но таким же рычагом—и лучшим—является интерес, а рабочий синдикат есть организация интереса, который своими ногами прочно стоит на почве будничной жизни масс, а головой своей купается в облаках самых смелых дерзаний революционной мысли. Где нет сильного революционно-профессионального движения масс, там революционная интеллигенция естественно впадает в свою наследственную болезнь—диктаторство и якобинство. Эту дань якобинству, по вине эпохи, заплатил и Лавров.

3.

Россия 1917 года не очень далеко ушла от России 1875 г. Из страны совершенно не промышленной она стала страной чуть-чуть промышленной, с ничтожным городским населением и ничтожным профессиональным движением.

Это делает отчасти понятной ту поразительную точность, с которою Лавров предсказал нашей октябрьской революции ее методы и приемы. Он не мог, конечно, предвидеть, что она начнется во время мировой войны (этой войны никто на земле еще не предвидел тогда), и потому не мог так точно предсказать роль армии. Но во всем остальном вся наша революционная кон'юнктура—роли и судьбы всех классов и групп—нарисована им так, как будто списана с современности. В мировой публицистике нет другого примера подобного могущества абстрактной политической мысли.

Главным стержнем революции он считает партию рабочих и крестьян с небольшим кадром интеллигентов. Эта партия, которую он называет социально-революционным союзом, до мельчайшего

напоминает нам Российскую Коммунистическую партию большевиков.

„Допустим, читаем мы у Лаврова [1]), что взрыв произошел... Местный бунт, вспыхнувший в достаточно значительных размерах, поддержан бунтами, одновременно с ним вызванными в разных пунктах. Войско, в котором происходила своевременно пропаганда, оказалось недостаточно надежным орудием в руках правительства. Его неудача быстро разнесла пожар восстания по обширной территории. Под руководством организованных членов социально-революционного союза (состоящего в огромном большинстве из крестьянства) группы *сочувствующих* целям социальной революции явились в селах с вызовом захватить в „общую, неделенную землю“ все частные владения, слить в единую „общую собственность всего рабочего люда“ всякую собственность. По этому вызову, поддержанному сведениями об успехах восстания в других местностях, поднялись на обширной территории батраки, младшие члены семей, бедные хозяева, не имеющие возможности при существующих порядках прокормиться круглый год, несмотря на самый усиленный труд, наконец, большинство бедного мещанства. Запуганные кулаки вместе с „культурными“ собственниками и администрацию или погибли при народном взрыве, или рады спрятаться от поднявшейся бури. Члены социально-революционного союза в столицах и других центрах управления (преимущественно из интеллигенции), если не во всех, то во многих из этих местностей, устранили и парализовали органы власти. Образовалась территория довольно обширная (хотя, может быть, не сплошная), на которой господствует восставший рабочий народ; *большинство* его произвело революцию, при инициативе не малого числа групп, знакомых с практическими задачами социальной революции, и горячо сочувствующих им, под руководством *организованного меньшинства из народа* (с небольшою долею интеллигенции), которое сознательно стремится осуществить помощью этой революции программу начал рабочего социализма: общую собственность, общий труд, федерацию трудящихся“.

„Поэтому [2]) совершенно естественно социально-революционный союз, подготовивший успех революции, должен будет сделаться руководителем восставших масс и организатором нового общества в первые моменты его развития“.

„Тут *захвата власти* не будет, потому что социально-революционный союз (и это его *необходимая характеристика*) состоит в большинстве из самого народа, и его влияние на массы опирается

[1]) Стр. 126—7. Цитирую с большими сокращениями.
[2]) Стр. 129.

не на принужденне, не на какую-либо внешнюю силу, но на доверие к нему народных групп, из среды которых он вышел, на то обстоятельство, что его члены, *ясно понимающие* задачу рабочего социализма, окружены группами, которые *сочувствовали* их *революционной* деятельности и, во имя этого товарищества в борьбе, готовы и теперь тоже поддерживать их деятельность *строительную*, и на то, что те и другие окружены массами, которые одни могли *совершить* революцию, но которые не могли *до нее* выработать себе программы деятельности при обстоятельствах, еще не наступивших".

„Мало того: в этом случае руководство и почин организации составляет *обязанность* убежденных и организованных социалистов-революционеров. Если они не решатся взять на себя этого почина, то он все-таки не сможет быть делом *всего* восставшего и совершившего революцию *большинства*, а станет делом других, более решительных людей".

„Вопрос[1]) в этом случае заключается не в том, *большинству* или *меньшинству* будет принадлежать на другой день после революции руководство дел и закладка первых, основных камней нового общественного здания; вопрос в том, *какому* меньшинству будет принадлежать эта роль: случайному ли меньшинству наиболее решительных людей или меньшинству, *подготовленному* к этому делу и своей организацией, и доверием достаточной доли восставших масс, и собственною работою мысли над программами рабочего социализма".

Из этих небольших цитат совершенно очевидно, что Лавров не строил себе никаких иллюзий насчет большинства народа: он знал и отчетливо предсказал, что переворот будет делом меньшинства при сочувствии значительных масс.

Он не только совершенно определенно знал силу и роль инициативного меньшинства, которое смеет брать на себя почин дела, нужного большинству: он знал, что гибель угрожает той партии, которая в нужную минуту не посмеет. История не спросит партию, во имя какого высшего начала она отказывается вести массы, но беспощадно отметет ее в сторону. Разве трагическая история партии социалистов-революционеров не представляет буквального осуществления пророчества Лаврова? С.-ры, а не большевики пользовались до октября „доверием достаточной доли восставших масс". С-ры, а не большевики задолго до революции проделали громадную „работу мысли над программами рабочего социализма": в их среде раньше всего началась борьба между минималистами и максималистами; в их недрах родилась идея трудовой республики;

[1]) Стр. 130.

они первые поняли и разрешили правильно самый основной вопрос русской экономики—аграрный; они раньше всех русских партий открыто и честно положили в основу государственной организации России принцип федерализма; они первые заговорили в своей программе об упразднении государственной власти, когда большевики еще считали своим идеалом буржуазную республику. С-ры, а не большевики были подготовлены своей организацией к руководству революцией, ибо в рядах с-ров были самые решительные и самые деловые люди, которые одинаково хорошо владели словом, пером и револьвером. Большевики представляли малочисленную группу доктринеров и фанатиков, которые, кроме взаимной грызни, неспособны были ни к какой деловой работе и которые каждым своим делом упраздняли какой-нибудь принцип программы, дотоле считаемый незыблемым. Правильность и дальновидность программы партии социалистов-революционеров особенно показывает „новый курс" политики большевиков со времени кронштадтского восстания. И все-таки... социалисты-революционеры, при всем том, низвергнуты в подполье, а большевики проводят в жизнь *их* программу. Как это стало возможно? Это стало возможно только потому, что с-ры, столь близкие Лаврову по духу, не поняли его завета, что руководство революцией есть *обязанность* сознательного меньшинства, а если оно не найдет в себе решимости для почина, история найдет „других, более решительных людей". С-ры не посмели прекратить войну, ибо не смели порвать с буржуазией,—и за это партия социалистов-революционеров заплатила ужасающим крахом, а вся страна—неслыханной разрухой.

Но здесь же (в этих же цитатах) мы видим зародыш всех тактических ошибок Лаврова: он не чувствует специфической природы власти; он думает, что партия до захвата власти и после захвата власти одна и та же партия: это глубочайшая ошибка. Переход простого рабочего в мастера неизбежно ведет к значительной переработке его сознания. Рабочий, ставший капиталистом, только в очень редких случаях может устоять против психологии новой среды и силы новых интересов. Таково же влияние политики: рабочий у станка и рабочий в парламенте—не два лица одного и того же типа, а два типа, два антагониста; а рабочий, ставший министром, более жестокий и более непримиримый враг рабочего у станка, чем капиталист или буржуазный министр. Партия, ставшая у власти, это политический трест, это—организованный заговор против общества, значит, раньше всего и главным образом против *рабочего* класса. Разве не звучат наивно его слова о том, что, собственно, „тут (т. е. в захвате власти) захвата власти не будет, потому что социально-революционный союз состоит в большинстве из народа"? В большинстве состоят из народа не только большевики, но и шей-

демановцы; из народа вышли в большинстве и американские миллиардеры. Наивны также надежды, которые Лавров возлагает на всяческие контроли за деятельностью членов правящей партии. „Убежденным социалистам (говорит он)[1]) *во имя их убеждения*, обязательно нужно устранить ненадежных, предупредить расчетливых честолюбцев, стать впереди слепых". Он не видит, что с каждым днем число этих „ненадежных" будет расти, что, благодаря власти, самое надежное ядро начнет разлагаться, и вновь вступающие в партию будут почти исключительно карьеристами. А слепыми... слепыми становятся все вельможи: власть поражает их куриной слепотой. Этот наивный, совершенно некритический взгляд на партийную диктатуру поразительно сближает Лаврова с современным большевизмом.

4.

Еще ближе подходит Лавров к современному большевизму, когда начинает набрасывать план организации России немедленно после социалистического переворота. Временами план Лаврова отличается от советской действительности только терминологией.

Подобно большевикам, Лавров делит все население не столько по социальному принципу, сколько по политическому. Он различает пять групп: 1) сознательные революционеры: это члены командующей партии; 2) сочувствующие им; 3) заинтересованные в торжестве революции: это массы трудящихся; 4) возможные сторонники из остатков бывших господствующих классов и 5) открытые, непримиримые враги[2]). Власть должны смело взять в свои руки первые две группы, опираясь на третью, бережно третируя четвертую и беспощадно подавляя последнюю группу.

История показала нежизненность и бесплодную теоретичность этой схемы. Но в этом не вина Лаврова: это последствие ошибки в исходной точке. Кто признал диктатуру движущей силой переворота, тот должен поставить общество на голову, забыв о том, что экономика есть единственная естественная основа общественного строя.

Большевики целиком осуществили программу Лаврова. Свергнув правительство Керенского, они предложили участие во власти всем социалистическим партиям, т.-е., по схеме Лаврова, представителям первых трех групп. Предложение приняли только левые с-ры, т.-е. представители второй группы. Но чего не предвидели ни Лавров, ни лидеры современного большевизма, это—неизбежный

[1]) Стр. 130.
[2]) Стр. 142.

процесс дифференциации: в экономике, как и в жизни, возможны и неизбежны нюансы и незаметные переходы; в политике власть проводит четкие грани: все общественные группы, как только диктатура партии становится фактом, распадаются на три лагеря: власть имущих, врагов существующей власти и равнодушных. Иными словами, общество из более или менее налаженной кооперации превращается в лагерь гражданской войны.

Отныне строительство новой жизни становится фантомом, за которым вечно гонится власть, но который вечно убегает от власти. Для построения общества нужны определенные экономические и культурные элементы, а политика ищет только политически-благонадежных. Разумеется, жизнь не налаживается, а разлаживается. В результате, последний резерв революции—равнодушные—тает: массы устают и принимают враждебную позицию. Контр-революция созрела. Но разве мог Лавров предвидеть это?

Как только „взрыв удался... немедленно вся земля, все существующие склады и частное имущество об'является общей собственностью: это решение принимается и исполняется в первую же минуту членами социально-революционного союза и лицами, примкнувшими к ним, как *фактическою властью*[1])... и эта же власть немедленно назначает заранее выбранных членов местных групп *комитета работ и продовольствия*[2]) распорядителями общественным имуществом". Главная обязанность этих распорядителей—„не терять ни минуты и совершить захват и распределение всей главной массы общественного имущества, прежде чем очнутся застигнутые событиями врасплох и запуганные ими лица".

„Как[3]) только этот главный первоначальный процесс совершился для главной массы недвижимого имущества и для большинства движимых запасов, *революционная власть* местных групп комитета работ и продовольствия должна быть сейчас же передана другому органу общественной солидарности".

Этим новым органом на местах Лавров считает „общий сход самодержавной общины, состоящий из всех рабочих, примкнувших к восстанию. В него войдут *немедленно* первые две из тех пяти категорий лиц, составляющих население общины, которые указаны мною выше. Но в него должно сейчас же пригласить *как можно более* и лиц третьей категории (из массы рабочего населения); даже полезно было бы немедленно ввести в него небольшое число четвертой категории (возможных союзников), конечно—при внимательном выборе"[4]).

[1]) Стр. 147.
[2]) В терминологии Лаврова, это наши «ревкомы».
[3]) Стр. 148.
[4]) Стр. 149.

„Общины могут образовать федерации довольно ограниченных размеров с временными *территориальными с'ездами* или постоянными *территориальными комитетами*, а эти *территориальные с'езды* или *комитеты* могут образовать из своих уполномоченных *общую думу рабочей России* для решения общих ее дел по указанию доверителей“ [1]).

Не трудно заметить, что предположения Лаврова почти буквально совпадают с советской конституцией, осуществленной большевиками и левыми с-рами. Сход из надежных элементов выбирает сельский совет, волостные с'езды, волостные советы, уездные советы, губернские советы, и—венец всей советской организации—В. Ц. И. К., т. е. „всероссийский центральный исполнительный комитет советов рабочих, крестьянских и т. д. депутатов“. Единственное отличие проекта Лаврова—это подчеркнутый федерализм. Но разве большевики не начали также с федерализма? Сама логика диктатуры партии превратила этот принцип в фиговый листок, прикрывающий самый беспредельный централизм: целые провинции управляются комиссией, назначенной центром. Власть советов давно уже стала советской властью, „самодержавная община“ Лаврова стала низшей исполнительной ячейкой совета народных комиссаров, т. е. правительства. Но логика здесь на стороне большевиков: какой реальный смысл может иметь местная автономия, когда диктатура повсюду в руках партии, неизбежно централистической в эпоху гражданской войны?

5.

Набрасывая проект политической организации революционной России, Лавров не забывал, что она будет врастать в жизнь в обстановке гражданской войны, которую он называет „чисто-народной“. Он совершенно отчетливо предвидел все своеобразные черты революционной войны, которую Россия ведет уже четыре года.

„Конечно (говорит он) [2]), *чисто-народная* война социалистов с их противниками не может вызвать генеральных сражений со всею тактическою обстановкою, которая обусловливается теперь военною организациею государств, вступающих в столкновение.

„При современном военном строе, где все зависит от *коллективного* действия, а личная инициатива солдат играет совершенно ничтожную роль, достаточно не особенно значительного числа *своих* и *сочувствующих* в батальоне, эскадроне или баттарее, чтобы сделать из этих боевых единиц ни на что негодную массу людей в руках власти“.

[1]) Стр. 169, 170.
[2]) Стр. 162—3.

Лавров с удивительной проницательностью предвидит, что контр-революция будет располагать только „отдельными отрядами, не затронутыми социалистической пропагандой". Для борьбы с ними он рекомендует прием, совершенно оправданный историей нашей гражданской войны,—именно: „концентрировать значительно-преобладающие народные массы" против немногочисленных, но хорошо обученных и хорошо дисциплинированных отрядов контр-революции.

Он подчеркивает другую особенность гражданской войны—ее непримиримость [1]). „Между новым и старым порядком мира *быть не может*. Где бы в первую минуту ни остановилась социальная революция в своих успехах, она должна немедленно, *для собственной обороны*, бросить эмиссаров социальной революции за пределы своего развития, должна действовать немедленно наступательно, отрядами, высылаемыми через границу далее и далее, чтобы территория *рабочей России*... была сейчас же опоясана пространством взволнованным и волнующимся; чтобы как можно далее за пределами нового общества еще непобежденные враги были заняты внутренними беспорядками и опасениями". Эта тактика не должна, по мнению Лаврова, остановиться на пределах России: необходимо вступить в связь с единомышленниками соседних стран.

Лавров не обходит молчаньем и вопроса о форме организации революционной армии. Будет ли она добровольческой или общенародной? „В обоих случаях [2]), призыв охотников или организация народного ополчения будет лежать на тех членах социально-революционного союза, которые, по своим социальным знаниям военного дела, будут на это заранее назначены товарищами, и на тех специалистах, которые, не принадлежа к союзу, будут тем не менее им выбраны в минуту революции, как заслуживающие доверия". Разве не удивительно, что вопрос о привлечении „военспецов", вызвавший такие страстные споры даже в лагере большевиков, заранее разрешен был Лавровым?

Должен ли командный состав избираться или назначаться? Известно, что большевики, начав с избирания, кончили назначением. Лавров также несколько колеблется. „Едва ли [3]) не лучше будет, чтобы отряды выбирали своих ближайших офицеров, эти выбирали бы из своей среды начальников отрядов, а начальники всех отрядов выбрали бы общего распорядителя всеми военными силами и средствами страны", который должен утверждаться с'ездом советов (по нашей терминологии), и при котором должна быть „*наблюдательная комиссия*", напоминающая большевистский реввоен-

[1]) Стр. 163—4.
[2]) Стр. 165.
[3]) Стр. 165.

совет Республики [1]). „В случае *крайности,* допускает Лавров, наблюдательная комиссия может своей инициативой, под личной ответственностью, и назначить временно главнокомандующего до новых выборов".

Вопрос о лучшей орагнизации революционной армии и в наше время как будто остается еще спорным. Большевики, ссылаясь на „блестящие успехи" красной армии, приписывают их бюрократически-иерархической организации. Но вполне позволительно сомневаться в правильности этого утверждения. Обратим внимание на следующие несомненные факты.

1. Красная армия в первых боях *всегда* терпела серьезнейшие неудачи против самых незначительных отрядов белогвардейцев. Колчак, Деникин, Врангель и даже Юденич превращали громадные воинские части красной армии в дикую толпу, охваченную сумасшедшей паникой, и белые армии только тогда начинали терпеть серьезные удары, когда в тылу их начинали действовать вольные партизанские отряды, которые совершенно разлагали и терроризировали армии контр-революции.

2. Единственный раз, когда красной армии пришлось иметь дело с хорошо снаряженным, дисциплинированным и патриотически настроенным войском,—в войне с Польшей,—красная армия, несмотря на громадное численное превосходство, потерпела страшное поражение.

3. Вольные отряды первого периода революции (красная гвардия), совершенно не обученные и без кадрового офицерства, в несколько месяцев завоевали всю Россию, а красная армия не в силах справиться с летучими отрядами мятежных украинцев, махновцев и других.

Не ближе ли Лавров к истине, что свободно организованная армия, об'единяющая снизу вверх все вооруженные отряды революции, более надежная сила, чем красная армия, организованная по мертвому шаблону империалистических армий?

Конечно, с народной армией невозможна диктатура партии. Большевизм это понял быстро и немедленно покончил с тем демократическим „предрассудком", под лозунгом которого только и удалось разложить старую царскую армию. Da liegt der Hund begraben.

6.

Не стану подробнее останавливаться на других пунктах программы Лаврова: она до того схожа с программой, проводимой нашим большевизмом, что интересна только, как исключительный

[1]) Стр. 166.

пример политической интуиции, близкий к пророчеству. Лавров предвидит необходимость, в первую голову, обеспечения населения продовольствием и сельско-хозяйственными орудиями [1]),—мысль, на которой потом так часто настаивал Кропоткин. Транспорт, как самый главный нерв революционной страны, он считает необходимым передать в непосредственное распоряжение партии [2]), что большевики и сделали фактически. Предвидя рост бешеной спекуляции, неизбежной спутницы всякой революции, он рекомендует суровые меры борьбы с ней: большевики и здесь оказались верными учениками непризнанного ими учителя [3]). Но нет ни одного пункта, на котором он столько настаивал бы, как необходимость строжайшего контроля над членами партии, облеченными властью: он чувствовал, видимо, что диктатура партии—самая уязвимая часть его учения, и всячески пытался защитить ее... контролем. Но так как контролировать призвана та же партия, а не широкие массы, то, разумеется, что цена такого контроля не очень высока: правая рука контролирует левую и наоборот.

Длительный переходный период в несколько поколений, строжайшая диктатура партии, привлечение беспартийных под контролем партии, назначенство и необходимость допущения „спецов",— вот основные черты его государственной политики в переходную эпоху,—черты чисто большевистские.

Но этим и ограничивается сходство: в широких областях революционного творчества Лавров стоит совершенно на другой принципиальной почве. Лавров энергично отстаивал необходимость диктатуры партии; но, оставаясь индивидуалистом и гуманистом, он никогда не забывал, что эта диктатура будет диктовать свою волю другим личностям, человеческим личностям, имеющим такое же право на жизнь и счастье, как и сами „диктаторы": у него нет ни презрения, ни ненависти к людям и группам, стоящим вне командующей партии. Он приемлет насилие, как необходимость, как крест, который капитализм навязал социализму для переходного периода. Но ему чужд политический садизм, питающийся ненавистью и насилием.

Собственность, по мнению Лаврова, должна быть конфискована быстро и решительно, но как поступить с собственниками? Именно в этом вопросе большевизм принес больше всего вреда ореолу социализма, показав всему миру свой звериный лик. И именно здесь Лавров дал нам доказательство своей политической мудрости. Он прекрасно понимает, что собственник—вовсе не злодей, которого

---

[1]) Стр. 138.
[2]) Стр. 140—141.
[3]) Стр. 139.

надо истребить для потехи уличной толпы, а обыватель, равнодушный к политике, вполне доступный воздействию высшей справедливости и высшей гуманности. Он понимает, что неспособными к труду [1]) сделала их предыдущая жизнь, и не хочет их карать за преступление всего общества и всей истории. „Чиновник какого-нибудь департамента", „учитель латинского языка", жена его, „которая умеет заказать платье, но не умеет скроить его", „сыновья-офицеры или чиновники", „дочери, которые читают романы, играют на фортепиано, вышивают по канве и расчитывают жить на счет работы мужа",—в глазах большевиков—это никуда ненужный хлам, который надо просто свалить в Ч. К. Лавров не хочет принуждать их к труду, не хочет ни „рабочих домов", ни „каторжных команд нового рода". Он не хочет ставить их перед дилеммой: „или работай... или умирай с голоду". Новое общество должно дать им кров, одежду и пищу, причислив их к своим трудонеспособным [2]).

7.

Жестокость и грубость в отношении врагов и равнодушных унизили большевизм, как культурную силу, показав всему старому миру, что высокие слова о новом мире и новой жизни прикрывают только старого оранг-утанга. Но едва ли не большее зло принес большевизм своей нетерпимостью к чужому мнению.

„*Живое слово*, говорит Лавров, должно быть допущено с полною свободою полемики... Группы, взявшие на себя обязанность охранения личной и общественной безопасности [3]), должны всеми силами охранять это право свободного слова у противников и не дозволять нанесения оскорбления или вреда тем, которые смело выступают против нового порядка с оружием слова. Новый порядок будет достаточно рационален, чтобы не нуждаться в защите принуждением" [4]).

Таково же отношение Лаврова к свободе печати. Хотя революция передает в руки командующей партии все средства печатания, он предостерегает революционеров от монополизирования печатного слова. Он предлагает „открыть станки типографий и страницы журналов нового строя всем противникам его, но озаботиться немедленно парализовать влияние их слов возражениями" [5]).

---

[1]) Стр. 136.
[2]) Стр. 137.
[3]) Т. е. наши Ч. К.
[4]) Стр. 175.
[5]) Стр. 176.

Но Лавров делает совершенно неожиданно огромную уступку большевизму в школьном вопросе. „Здесь, утверждает он, как в экономическом строе, никакая уступка не дозволительна, потому что грозит опасностью новому порядку. *Ни одна школа* не может быть предоставлена его противникам. *Ни одно* молодое существо не должно вырасти под влияниями, враждебными рабочему социализму. Все старые школы всех наименований должны быть закрыты и немедленно преобразованы в новые, соответственно требованиям нового строя“ [1]).

Странная непоследовательность! Если наша тактика определяется только практическими интересами минуты, то зачем давать врагам свободу слова и печати? От их критики или брани никакой пользы новому строю не будет. Очевидно, эта свобода базируется на чем-то более глубоком и более важном, чем преходящий интерес дня. Когда мы врагу своему даруем жизнь, мы это делаем вовсе не потому, что думаем, будто он никогда не может оказаться для нас опасным, но потому, что, несмотря на угрожающую нам опасность, враг имеет все-таки какие-то права. Наше моральное сознание приемлет убийство врага в одних случаях, но не мирится с ним в других. Но что такое лишение свободы, как не постепенное, медленное убийство? Можно ли утверждать, что восставший и победивший народ *всё* смеет? Конечно, всё, кроме нарушения того, что служит оправданием его собственного восстания: человечности, права на человеческое существование и на человеческое достоинство. Народ, не признающий для себя этой моральной узды, не революционер, а бандит, а бандитам не создать нового, лучшего мира.

За ложь, за всякую клевету революция в праве привлекать к ответственности своих врагов и даже лишать их слова: это—акт самозащиты. Но лишить оппозицию права критики, даже самой суровой, есть акт трусости и насилия, колеблющий нравственную основу революции.

Почему все школы должны стать достоянием победившей партии? Почему „ни одно существо“ не может получить свободного воспитания? При существующей форме брака дети вовсе не являются еще достоянием общества. Да вряд ли когда-нибудь осуществится идеал Платона. На каком же основании командующая партия имеет монополию на школьное образование?

Лавров сравнивает школьный вопрос с экономическим. Сравнение не выдерживает критики. Экспроприируя собственность (главным образом, крупную), мы известную группу эксплоататоров лишаем их монополии, а экспроприируя школы, мы создаем для себя

[1]) Стр. 177.

монополию, самую опасную и самую безнравственную из всех монополий. Если будущий экономический строй, по мнению Лаврова, будет настолько „рационален“, что не будет нуждаться в насилии, то почему же духовное воспитание необходимо связано с таким грубым насилием над совестью?

Большевизм гораздо последовательнее. Отожествляя интересы революции с интересами своей партии, он подавил все, что может встать на пути партии: и школы, и печать, и слово. Анархизму и здесь не по пути с большевизмом.

8.

Основная ошибка Лаврова есть основная ошибка большевизма: диктатура партии. Напрасно Лавров делает на каждом шагу оговорки, имеющие целью несколько оградить общество от неизбежного произвола. Эти оговорки ничего не изменяют по существу. Логика фактов сильнее моральной брезгливости. Кто сказал: „диктатура“, тот сказал: „большевизм“, вопреки всем возможным „но“.

Но, действительно, нужна ли диктатура партии? Где рабочий класс не приобрел достаточных организационных навыков, где он недостаточно многочислен и недостаточно организован, никакая диктатура не построит социализма. А где эти условия на-лицо, диктатура партии не только не нужна, но и вредна. Социализм есть раньше всего вопрос экономики: не партия, а только экономическая организация трудящихся в силах перевести хозяйство на другие рельсы. В социалистическом обществе все граждане вовсе не обязаны быть социалистами, как в современном обществе вовсе не все люди сторонники капитализма. Организация трудящихся, скажем, всеобщая конфедерация труда, которая заменит буржуазное государство, вынуждена будет, вероятно, совершить некоторое насилие над отсталыми или подкупленными элементами, но это не предполагает никакой организованной диктатуры. Это насилие стачечников над штрейкбрехерами, не более.

Кто в этом пункте уступает большевизму, тот погиб для анархизма и для... социализма также.

Диктатура ведет к созданию новой бюрократии, высокомерной, жестокой и бездарной: ведь, для каждой общественной службы нужен диплом благонадежности. Отсюда: лицемерие, ложь, подлоги, взаимная зависть, чинопочитание, разврат.

Эта бюрократия неизбежно превращается в касту. Ибо новые члены большей частью „ненадежны“. Высшие должности республики становятся синекурами небольшого кружка „надежных людей“. Самонадеянность и наглость свивают себе прочное гнездо в сердцах вельмож от социализма.

Человек перестает быть личностью: все становятся чиновниками. Яд бюрократизма спускается сверху вниз, проникает во все артерии общества. Социалистическое общество распадается на три класса чиновников. В первый, низший класс попадает масса трудящихся: это класс *неответственных* работников. В этом классе все обязаны работать, а едят, если умеют спекулировать или воровать. Второй класс составляют *ответственные* чиновники: эти не обязаны работать, но вполне обеспечены. Они управляют первыми и едят за них. Но высший класс, настоящую аристократию, составляет тот ничтожный кружок, который правит партией. Это настоящая камарилья. Ей нет ни в чем отказа. Она *безответственна*. Общественная собственность—ее поместье. Культурные ценности страны—побрякушки для партийного тщеславия. Она, как всякая каста, лишена совести и чести, ибо выше всего она ставит лозунг: сохранить свою власть. Это она сделала в глазах широких масс социализм предметом омерзения и страха.

ГЛАВА VI.

Нравственность и власть.

1.

И лавризм, и большевизм формально признают неизбежность упразднения государства: оба верят, что настанет момент, когда государство растворится в обществе. Всякая борьба между государственностью и общественностью прекратится. Одно из вековых противоречий, исказившее человеческую историю, исчезнет.

Но знаменует ли это исчезновение наступление „эпохи покоя“? Социализм отвечает и должен отвечать положительно. Но ответ этот совершенно ошибочен.

Если противоречие между обществом и государством (символизирующее борьбу классов)—единственное общественное противоречие, откуда же возникает проблема *организации:* борьба между централизмом и федерализмом? Разве борьба между этими двумя принципами менее глубока, чем война между анархизмом и социализмом, между обществом и государством?

Очевидно, что противоречие между государством и обществом вырастает из другого противоречия, более глубокого: это—антагонизм между обществом и личностью. Именно в этом антагонизме основной фактор развития, а затем разложения и гибели социалистического общества.

Индивид невозможен вне общества: он дичает или погибает. Взаимная помощь, т. е. коллективный труд, ткет постоянную ткань общественности вокруг личности.

И не только—труд, есть и другой фактор, более могущественный, хотя менее осязательный, которому имя—пол.

Еще задолго до возникновения самой примитивной формы коллективного труда уже существовало примитивное общество в лице матери и ее детей. На чем основана здесь общественная связь? В настоящее время ответ уже вне спора: на поле. Пол создал и следующую форму общества, семью—матриархальную, патриархальную, групповую. Человеческое общество, я не хочу сказать,—человечество, есть, в сущности, сотканная полом тончайшая сеть самых различных ячеек пола. Человек может быть совершенно безразличен другому в смысле трудовом, биологическом, но он не может быть ему безразличен в смысле сексуальном.

Труд и пол влекут индивида в сферу общественности, подавляя в нем личное, эгоистическое. Не в праве ли мы отсюда заключить, что социализму принадлежит будущее? Быть может, личность такой же преходящий момент бытия, как клеточка, и социализм родит не только новую форму хозяйства, но и новую форму бытия, новый своеобразный организм—общество, органы которого будто теснейше связаны узами психики?

Конечно, одной коллективности труда для этого недостаточно. Платон это понял: он социализирует не только хозяйство, но и пол. Когда каждая женщина может стать женою каждого, когда каждый ребенок может быть ребенком каждого, сам пол становится слугою общества: оно становится семьею, органическое сливается с социальным.

Но проблема начинается как раз там, где Платон видел ее разрешение. Освобождение человека от полового эгоизма, конечно, очистит, облагородит общество. Но значит ли это, что оно уничтожит чувство индивидуальности?

Верно как раз обратное. Индивидуальность рождается только из пепла примитивного пола. Освобожденный от пут животности, мутящей сознание личности, пол приобретает крылья и становится фантазией, воображением, творчеством. Фаллус становится Аполлоном. Индивид становится индивидуальностью, человек—личностью. И лишь теперь противоречие между личностью и обществом становится выпуклым, ярким, непримиримым. Это—борьба духа и материи, сознания и бытия.

Здесь источник проблемы организации. Борьба за организацию есть борьба против личности. Кто этого не понял, никогда не поймет всего философского значения организационного вопроса.

2.

Всякая форма организации есть известная форма массового гипноза, усыпления сознания личности. Великие организаторы всегда великие гипнотизеры.

Процесс организующего усыпления проходит через несколько ступеней.

Вначале необходимо сузить внимание личности и сосредоточить ее сознание на возможно меньшем поле наблюдения. Это то, что гипнотизеры называют фиксацией, а организаторы называют агитацией. Внимание личности фиксируется на каком-нибудь одном факте, явлении, близко затрагивающем ее интересы и потому способном отвлечь внимание от всего остального мира.

Затем организатор обобщает это искусственно изолированное им и искусно фиксированное им явление, делая его центром всего сознания и подчиняя ему все остальные так, что они становятся как бы отражением его. Теперь личность не только не глядит уже на остальной мир, но и не видит его, когда случайно взглянет. Этот момент организаторы называют пропагандой. Такую пропагандистскую роль играют все теории массового гипноза вроде исторического материализма. Исторический материалист совершенно слеп для всего, лежащего вне экономики, или считает всё отражением экономики, как религиозно-помешанный или, если хотите, религиозно-гипнотизированный видит во всем отражение бога.

Следующей ступенью организующего гипноза является активность: надо организуемого занять работой,—иначе гипноз легко рассеется; надо заставить каждого усыплять других, тогда он глубже засыпает сам. Работа поглощает остаток бодрствующего сознания. Организация, которая не действует, распадается: ее члены не только расходятся, но, что в высшей степени любопытно, разочаровываются. Не оттого ли так часты разочарования в среде анархистов и так редки в среде умеренных партий, которым общество предоставляет больше возможностей для деятельности?

Но высшим и венчающим моментом организации является апофеоз: надо цель организации поднять на такую нравственную высоту, чтобы с точки зрения этой цели всякая другая казалась моральным паденьем. Этому апофеозу организации служит или теория нравственности, или теория необходимости. Организатор или убеждает личность в том, что ее растворение в организации—необходимо для нее самой, для ее собственного счастья и морального покоя, или—что оно все равно неизбежно по фатальному ходу вещей. Круг замкнут, личность, в сущности, умерла: она может жить и дышать только в своей организации: религиозной секте, политической партии, общественной корпорации.

3.

Совершенно очевидно, что всякая организация должна придти к централизму. Ибо только в централизме индивид становится органом общественного целого.

Федерализм ничем не отличается от централизма по цели. Они отличаются друг от друга только по методам, которые зависят от разных степеней подготовленности организуемых элементов. Когда организующий гипноз закончен, централизм—естественная форма организации. Но где процесс гипноза не завершился, индивид настаивает на федерализме. Не потому, что федерализм лучшая форма организации, а, наоборот, потому, что он оставляет индивиду значительную долю свободы, т.-е. ослабляет организацию. Федерализм не есть организация для дела. Чем же так дорог федерализм своим сторонникам? Он дорог тем, что федерализм есть поле, на котором централизм борется с индивидуализмом. Всякий федералист в душе индивидуалист и боится своей организации. Вот почему всякая федеративная организация или распадается, или становится централистической. Или централизм, или индивидуализм: tertium non datur.

Лавров прекрасно понимал, что форма организации совершенно не существенна [1]), а вся суть в сознании ее членов. Если члены организации достаточно подготовлены духовно, главная работа сделана. И он прекрасно понимает, что для подготовки социалистического общества необходимо уже теперь нравственно обработать индивида: надо сделать индивида не только способным жертвовать собою ради коллектива, но и сделать эти жертвы в его глазах естественными и, если возможно, даже приятными. Отсюда его апофеоз солидарности.

„Солидарность, говорит он [2]), составляет основной признак его (рабочего общества). Она была руководящим знаменем всего развития социализма... Она одна может дать прочность будущему строю. Ее именно должен дать *рабочей России* социально-революционный союз. Без нее всякая его форма будет бессильною фикцией. Следовательно, привычку к солидарности *нравственно обязаны* прежде всего и сильнее всего выработать в себе и в своих товарищах убежденные социалисты. А эта привычка встречает много препятствий в других укоренившихся привычках и влечениях, выработанных старым миром в людях, которым приходится строить мир новый".

Мысли, здесь сказанные, кажутся невинными на первый взгляд, но вызывают ряд недоумений при малейшем анализе. По-

[1]) Стр. 191.
[2]) Стр. 211.

чему индивид „нравственно обязан“ соблюдать солидарность? Разве стачечники солидарны из нравственных побуждений, а не эгоистических? Если будущее общество будет выгодно всем индивидам, они, конечно, будут чувствовать себя солидарными. Думает ли Лавров, что они „нравственно обязаны“ чувствовать себя солидарными даже *вопреки* своим действительным интересам? В таком случае, социализм может стать столь же опасным и реакционным, как все исторические религии, пытавшиеся рабам навязать солидарность с их убийцами.

„Общественная [1]) сила, продолжает Лавров, заключается только в общественном союзе, и в союзе не формальном, но *действительном*, причем каждый подчиняет личные влечения общему делу, подчиняется *искренно*, как лицо, решению целого“... Революционер, по мнению Лаврова, должен „перевоспитать [2]) себя до самых основных нравственных влечений, прежде чем он имеет право назвать себя *социалистом*, строителем солидарного общества“. „Член союза должен *искренно* действовать согласно решению большинства, оставляя в стороне свои личные взгляды. Вне этого *нет* общественной силы, *нет* солидарности. Вне этого социализм есть пустое слово или лицемерная маска“. Иными словами: личность должна умереть, чтобы жило общество. Это последовательно в устах марксиста, для которого личность есть функция общества. Но трудно понять, как Лавров примиряет это положение со своим учением о критической личности.

Словно почувствовав, что его теория солидарности грозит усыпить и утопить личность, Лавров выдвигает тут же другой принцип социалистической нравственности.

„Мне остается сказать о том нравственном требовании, которое охраняет личность социалиста от обращения в машину [3]), неспособную к самостоятельности; о нравственном требовании, которое одно позволяет установить равновесие между властью... и личностью, нравственно обязанною подчиняться этой власти... Это нравственное требование—*охранение человеческого достоинства в себе и других*“ [4]).

„Человеческое достоинство“—принцип, который охотно примет и анархизм. Но где границы этого достоинства, и кто должен их намечать: личность или общество? В первом случае от „солидарности“ остается только слово, в последнем случае принцип человеческого достоинства—только маска и новое средство усыпления личности.

---

[1]) Стр. 212.
[2]) Стр. 213.
[3]) Значит, Лавров предвидел, чем угрожает его «солидарность»?
[4]) Стр. 221.

Примирить эти два противоположных начала Лаврову не удалось, да вряд ли и возможно.

В одном месте [1]) он формулирует свою мораль так: „насколько обстоятельства дозволяют тебе развить в себе силы физические, для возможности борьбы за лучшее, силы умственные, для понимания этого лучшего, силы нравственные, для решимости вести эту борьбу,—настолько ты и *обязан развивать* в себе эти силы". Здесь мы видим как будто предвосхищение основного принципа морали Марка Гюйо, воспринятого П. Кропоткиным и гласящего: „будь силен!" Это принцип, в сущности, индивидуалистический и вряд ли вмещающийся в рамках обычной морали. Но на следующей странице [2]) Лавров нам пишет курсивом: „*Нравственное достоинство социалиста лишь в группе*": значит, и тогда, когда группа нам связывает ум, связывает волю?

Не примирив эти два принципа—нравственное сознание личности и покорность коллективу—Лавров хочет надеяться, что контроль над властью сделает невозможным злоупотребление. „Социалисты, говорит он [3]), умеющие всегда стоять за свое личное или коллективное достоинство, не впадая в мелочную щекотливость, ни при какой форме организации не дозволят злоупотреблений власти и сумеют контролировать эту власть. Если же личности и группы легко поступаются своим достоинством, то власть, самая ограниченная формально, весьма легко обратится в деспотизм".

Это совершенно правильно с фактической стороны. Но это, конечно, не принципиальное решение организационного вопроса, а признание его неразрешимым: так как злоупотребление властью совершенно неотделимо от употребления ее, то неизбежна и постоянная борьба личности против этой власти. Социалистическая партия—прообраз социалистического общества—есть арена вечной борьбы общества, вооруженного авторитетом власти, и личностью, против нее протестующей. И выхода нет.

Или личность искренно поверит в святость солидарности, в нравственный авторитет большинства, и покорно подчинится: тогда общественная власть этого большинства „легко обратится в деспотизм". Или личность никогда и никому, никакому фетишу не отдаст своего естественного и ничем не ограниченного права на свободную мысль и свободный выбор: мы оказываемся в об'ятиях индивидуализма. Или деспотизм, или анархизм.

---

[1]) Стр. 226—227.
[2]) Стр. 228.
[3]) Стр. 233.

ГЛАВА VII.

Большевизм, лавризм и анархизм.

Эти три учения—три символа: государство, общество и личность.

1.

Большевизм есть чистое якобинство. Его религия—государство. Вне государства он не мыслит общества, а общество... это стадо, которое пасет и стрижет государство.

Большевизм это социализм без культуры социализма. В школе социализма он учился только экономике, но и ей не научился. Это он возвел хозяйство в культ, с его черствым материализмом и небывалым эгоизмом.

Большевизм богат, гибок и живуч. Агитатор в подполье, дезертир в армии, чиновник в революции, комиссар на фронте—такова история большевизма. Судья, дипломат и торговец: всем, чем хотите, может стать большевик. Лишь одним он не может стать—личностью.

Большевизм есть конец эпохи, а не начало. У него нет будущего. Это последний день железного века.

2.

Социализм имеет, все-таки, мало общего с большевизмом. У социализма есть историческое сходство с христианством: ему также выпало на долю огромное наследство, с которым он также не знает, что делать.

Социализм еще не культура, а начало культуры. Но и в самом начале в своей колыбели социализм уже смертельно болен болезнью христианства—альтруизмом. Думать о „другом", работать для „другого", жить для „другого"... А этот другой: для кого будет он думать, работать и жить? Тоже для другого? Что это: святость или лицемерие?

Социализм не отрицает личности, но он ее не понимает. Он любит ее, как хорошая хозяйка „любит" дрожжи в своем тесте.

Возможен ли социализм? Конечно, да. Но он скучен, как задача с излишним количеством данных.

Социализм не замкнутый круг, а пассаж, в котором встречаются два мира: капитализм и анархизм.

3.

А что такое анархизм? Часовой на страже культуры. На знамени человечества он стер все „святые“, но лживые слова и написал одно только слово: личность.

Анархизм есть путь от Человека к Сверх-человеку. Путь этот долог и мучителен. И анархизм рад попутчику, и особенно—честному, вроде лавризма.

Лавризм есть анархизм, который ушел от себя, чтобы придти к социализму, но в социализме он любит все-таки анархизм.

Я. Новомирский.

Москва. 17 августа 1921.

БИБЛИОТЕКА
ИНСТИТУТ КРАСН. ПРОФЕССУГИ
№